

Федор Сологуб
ЦАРИЦА ПОЩЕЛУЕВ

Сказки для взрослых



Седмичная Книга



Федор Кузьмич Сологуб

Царица поцелуев.

Сказки для взрослых

Текст предоставлен издательством

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6506972

Царица поцелуев. Сказки для взрослых: Седьмая книга;

ISBN 978-5-906-13739-5

Аннотация

Сборник сказок для взрослых, рассказов, притчей и повестей о радостях и скорбях любви, объединенный интимно-лирической темой, открывает читателю забытые страницы наследия выдающегося прозаика, поэта, драматурга, и классика Серебряного века Федора Сологуба.

В сборник включен последний роман Федора Сологуба «Заклинательница змей» о поздней страсти и любви в дворянском «гнезде», давно ставшем змеиным...

Содержание

Царица поцелуев	5
Страна, где воцарился зверь	16
Мудрые девы	31
Сказка гробовщицовой дочери	38
Милый паж	51
Чудо отрока Лина	67
Смерть по объявлению	79
Любви	96
Красота	116
Отрава	131
Конец ознакомительного фрагмента.	147

Федор Сологуб
Царица поцелуев
Сказки для взрослых

Царица поцелуев

Сколь неразумны бывают и легкомысленны женские лукавые желания и к каким приводят они страшным и соблазнительным последствиям, тому примером да послужит предлагаемый рассказ, очень назидательный и совершенно достоверный, о некоторой прекрасной даме, которая пожелала быть царицею поцелуев, и о том, что из этого произошло.

В одном славном и древнем городе жил богатый и старый купец по имени Бальтасар. Он женился на прекрасной юной девице, – ибо бес, сильный и над молодыми, и над старыми, представил ему прелести этой девицы в столь очаровательном свете, что старик не мог воспротивиться их обаянию.

Женившись, Бальтасар раскаивался немало, – преклонный возраст не давал ему в полной мере упиться сладостями брачных ночей, а ревность скоро начала мучить его. И не без основания: молодая госпожа Мафальда, – так звали его жену, – скучая скудными ласками престарелого супруга, с вождением смотрела на юных и красивых. Бальтасару же по его делам приходилось отлучаться из дому на целые дни, и только в праздники мог он неотлучно быть с Мафальдою. И потому Бальтасар приставил к ней верную старую женщину Барбару, которая должна была неотступно следовать всегда за его женою.

Скучна стала жизнь молодой и страстной Мафальды: уже

не только нельзя было ей поцеловать какого-нибудь красивого юношу, но и украдкой брошенный на кого-нибудь умильный взгляд навлекал на нее суровые укоры и беспощадные наказания от ее мужа: ему обо всем доносила сварливая, злая Барбара.

Однажды в знойный летний день, когда было так жарко, что даже солнце тяжело задремало в небе и не знало потом, куда ему надобно идти, направо или налево, заснула старая Барбара. Молодая Мафальда, сняв с себя лишнюю одежду и оставив на себе только то, что совершенно необходимо было бы даже и в раю, села на пороге своей комнаты и печальными глазами смотрела на тенистый сад, высокими окруженный стенами.

Конечно, никого чужого не было в этом саду, да и не могло быть, так как единственная калитка в заборе давно уже была наглухо заколочена и попасть в сад можно было только через дом, – а в дом никого не впускали крепко запертые наружные двери. Никого не видели печальные очи пленной молодой госпожи. Только резкие тени неподвижно лежали на песке расчищенных дорожек, да деревья с блеклою от зноя листвою изнывали в неподвижном безмолвии замороженной своей жизни, да цветы благоухали пряным и раздражающим ароматом.

И вдруг кто-то тихим, но внятным голосом окликнул Мафальду:

– Мафальда, чего же ты хочешь?

Промолчать бы ей, уйти бы ей в комнаты, закреститься бы ей от нечистого наваждения, – нет, Мафальда осталась. Мафальда встрепенулась. Мафальда с любопытством огляделась кругом. Мафальда лукаво усмехнулась и шепотом спросила:

– Кто там?

И недалеко от нее, в розовых кустах, откуда пахло так томно и нежно, засмеялся кто-то тихо, но таким звонким и сладким смехом, что от непонятной радости замерло сердце Мафальды. Вот только пошептала она с лукавым искусителем – и уже подпала под власть его поганых чар.

И опять заговорил неведомый гость, и ароматом повеяли его обольстительные слова:

– Госпожа Мафальда, что тебе в моем имени? И показаться я тебе не могу. Ты же поспеши сказать мне, чего ты желаешь и о чем ты томишься, и я все исполню для тебя, прелестная дама.

– Почему не хочешь ты показаться мне? – спросила любопытная Мафальда.

– Госпожа, ты так легко одета, – отвечал Мафальде неведомый посетитель, – длинны и густы твои черные косы, но все-таки они не закрывают совсем твоих восхитительных ног, и если я выйду сейчас, то тебе, госпожа, будет стыдно.

– Ничего, никто нас не увидит, Барбара спит, – сказала Мафальда.

Но чуток сон злых старух, стерегущих молодых красавиц.

Барбара услышала свое имя и проснулась. Стала на пороге рядом с госпожой, подозрительно осмотрелась и спросила:

– Госпожа Мафальда, с кем ты разговаривала сейчас? Кто был у тебя в этом саду?

– С кем говорить мне! – досадливо ответила Мафальда, – здесь никого не было, да и кто мог бы попасть в этот сад? Разве только нечистый, а что мне с ним разговаривать? Не большая услада!

Но старуха недоверчиво покачивала головою и бормотала:

– Хитры молодые жены старых мужей. Я чую, что здесь был кто-то: не чертом пахнет здесь, а молодым кавалером в бархатном берете и красном плаще. Крутя одной рукою черный ус и другою рукою опираясь в бок около рукоятки своей острой шпаги, он стоял там, за розовым кустом, и говорил тебе слова, за которые твой муж заплатит тебе уже звонкою монетою.

Настала ночь, но не стало прохладно. Такая же душная, такая же томная, как день, была и черная ночь.

Жестоко высеченная мужем по доносу злой Барбары, долго плакала Мафальда и не хотела заснуть. Рядом с нею на супружеском ложе тихо похрапывал почтенный купец Бальтасар, насладившийся в меру своих старческих сил вынужденными ласками наказанной жены.

И вдруг опять услышала Мафальда над собою тот же искусительный сладкий голос:

– Мафальда, говори скорее, чего же ты хочешь? Говори

скорее, пока не проснулся муж, пока никто не знает, что я здесь.

И уже не медлила Мафальда ни минуты и сказала, приподнявшись на подушках и в темноту ночную обратив вождедеющий взор:

– Хочу быть царицею поцелуев.

Засмеялся неведомый посетитель, и опять все стало тихо. Но в себе почувствовала Мафальда какую-то перемену. Еще не знала она, в чем состоит эта перемена, но уже радостно ей было.

Она заснула сладко и крепко и видела радостные и страстные сны. Многие прекрасные юноши приходили к ней и осыпали ее такими пламенными поцелуями, каких, казалось, никто еще не ведал ни на земле, ни на небе. И снилось Мафальде, что сила ее нескончаема и что она может перецеловать всех юношей того города и многих других городов и всех их одарить пламенными ласками до утомления, до смерти.

И утро настало, и загорелась великая в теле Мафальды жажда поцелуев. Едва только ушел на свою торговлю ее муж, Мафальда сбросила с себя все одежды и вознамерилась выйти на улицу.

Барбара закричала неистовым голосом, призывая слуг, и хотела силою удержать в доме госпожу. Но Мафальда быстрым ударом повергла на пол злую приставницу свою, локтями и кулаками растолкала всех слуг и служанок и выбежала на улицу нагая, громко вопия:

– Прекрасные юноши, вот иду я на перекрестки ваших улиц, нагая и прекрасная, жаждущая объятий и пламенных ласк, я, великая царица поцелуев. Вы все, смелые и юные, придите ко мне, насладитесь красотой и буйным дерзновением моим, в моих объятиях испейте напиток любви, сладостной до смерти любви, более могущественной, чем и самая смерть. Придите ко мне, ко мне, к царице поцелуев.

Заслышав пронзительно-звонкий зов Мафальды, отовсюду поспешно сбежались юноши того города.

Красота юной Мафальды и еще более, чем эта красота, бесовское обаяние, разлитое в ее бесстрашно и дерзко обнаженном предо всеми теле, распалили желания сбежавшихся юношей.

Первому же из них открыла юная Мафальда свои страстные объятия и упоила его блаженством сладостных поцелуев и страстных ласк. Отдала она его желаниям свое прекрасное тело, простертое здесь же, на улице, на поспешно разостланном широком плаще ее любовника. И пред очами вождедеющей толпы юношей, испускающих вопли страсти и бешеной ревности, быстро насладились они горячими ласками.

Едва разомкнулись объятия первого любовника, едва склонился он к ногам прекрасной Мафальды в страстной истоме, желая кратким отдыхом восстановить любовный неистовый пыл, оттащили его от Мафальды. И второй юноша завладел телом и жаркими ласками Мафальды.

Густая толпа вождедеющих юношей теснилась над ласка-

ощимися на жестких камнях улицы.

– Им жестко, – сказал кто-то благоразумный и добрый, – подложим им свои плащи, чтобы и для себя приготовить пышное ложе, когда придет наш черед возлечь с царицею поцелуев.

И вмиг гора плащей воздвиглась среди улицы.

Один за другим бросались юноши в бездонные объятия Мафальды. И отходили в изнеможении один за другим, а прекрасная Мафальда лежала на мягком ложе из плащей всех цветов, от ярко-красного до самого черного, и обнимала, и целовала, и стонала от беспредельной страсти, от не утоляемой ничем жажды поцелуев. И свирельным голосом вопила, и далече окрест был слышен голос ее, взывающий так:

– Юноши этого города и других городов и селений, ближних и дальних, придите все в объятия мои, насладитесь любовью моею, потому что я – царица поцелуев, и ласкания мои неистощимы, и любовь моя безмерна и неутомима даже до смерти.

Разнеслась по городу быстрокрылая молва о неистовой Мафальде, которая лежит обнаженная на перекрестке улиц и предает свое прекрасное тело ласканиям юношей. И пришли на перекресток мужи и жены, старцы, и почтенные господа, и дети, и широким кругом обступили тесно сплотившуюся толпу неистовых. И подняли громкий крик, укоряли бесстыдных и повелевали им разойтись, угрожая всею силою

родительской власти, и гневом Божиим, и строгою карою от городских властей. Но только воплями распаленной страсти отвечали им юноши.

И Бальтасар пришел и рвался к жене, яростно вопия, рас- точая удары и кусаясь. Но не пустили его юноши к Мафаль- де. Обессилел старик и, стоя поодаль, рвал на себе одежду и седые волосы.

Пришли городские старейшины и повелели бесстыдному сборищу разойтись. Но не послушались юноши и продолжа- ли толпиться вокруг прекрасной обнаженной Мафальды. И уговоры патеров не подействовали на них. И уже долго дли- лось позорище, и уже клонился к вечеру день.

Позвали тогда стражу. Воины набросились на юношей, из- били многих, других кое-как разогнали. Но вот увидели они обольстительное, хотя уже измятое многими ласками тело Мафальды и услышали ее свирельно-звонкий вопль:

– Я – царица поцелуев. Придите ко мне все, жаждущие сладостных утешений любви.

Забыли воины свой долг. И тщетно восклицали старей- шины:

– Возьмите безумную Мафальду и отнесите ее в дом к ее супругу, почтенному Бальтасару.

Воины, как перед тем юноши, обступили Мафальду и жаждали ее объятий. Но так как они были грубые люди и не могли соблюдать очередь, как делали это учтивые и скром- ные юноши того города, хорошо воспитанные их благочести-

выми родителями, то они разодрались, и пока один из них обнимал Мафальду, другие пускали в ход оружие, чтобы решить силою меча, кто должен насладиться несравненными прелестями Мафальды. И многие были ранены и убиты.

Не знали старейшины, что делать. Совещались на улице близ того места, где неистовая Мафальда вопила в объятиях солдат и осыпала их неутомимыми ласками.

Случай, который при всяких других обстоятельствах следовало бы признать ужасным, пришел на помощь сгорающим от бессильного гнева и стыда старейшинам города. Один из солдат, юный и сравнительно с другими слабый, но страстный не менее остальных, не мог дожидаться возможности приблизиться к обольстительному телу Мафальды. Он ходил вокруг места, где сладостные звучали поцелуи, где неистощимая любовь дарила не сравнимые ни с чем наслаждения его товарищам, – и отталкивали его от этого милого места товарищи его и грубо смеялись над ним. Он лег на камни мостовой, жесткие, холодные, – ибо уже целый день прошел и ночная тьма спустилась над городом, – лег на камни, закрыл голову плащом и завыл жалобно от обиды, стыда и бессильного желанья. Сожигаемый злобою, украдкою схватился он за свой кинжал и тихо, тихо, как в траве крадущаяся змея, пополз между ногами толпившихся солдат. И приблизился к Мафальде. Ощупал горячими руками ее похолодевшие ноги и в трепещущий бок ее вонзил быстрый кинжал.

Громкий визг раздался и прерывистый вой. В руках ласкавшего ее солдата умирала Мафальда и стонала все тише. Захрипела. Умерла.

Обрызганный ее кровью, поднялся солдат.

– Кто-то зарезал царицу поцелуев! – завопил он свирепо. – Кто-то злой помешал нам насладиться ласками, которых еще никто не знал на земле, потому что первый раз к нам сошла царица поцелуев.

Смутились солдаты. И стояли вокруг тела.

Тогда подошли старцы, уже бесстрастные от долготы пережитых ими лет, подняли тело Мафальды и отнесли его в дом к старому Бальтасару.

В ту же ночь молодой солдат, убивший Мафальду, вошел в ее дом. Как случилось, что его никто не заметил и не оставил, не знаю.

Он приблизился к телу Мафальды, лежащему на кровати, – еще не был сделан гроб для покойницы, – и лег рядом с нею под ее покрывалом. И, мертвая, разомкнула для него Мафальда свои холодные руки и обняла его крепко, и до утра отвечала его поцелуям поцелуями холодными и отрадными, как утешающая смерть, и отвечала его ласкам ласками темными и глубокими, как смерть, как вечная узорешительница смерть.

Когда взошло солнце и знойными лучами пронизало сумрак тихого покоя, в этот страшный и томный, в этот рассветный час в объятиях обнаженной и мертвой Мафальды,

царицы поцелуев, под ее красным покрывалом умер молодой воин. Разъединяя свои объятия, в последний раз улыбнулась ему прекрасная Мафальда.

Я знаю, что найдутся неразумные жены и девы, которые назовут сладким и славным удел прекрасной Мафальды, царицы поцелуев, и что найдутся юноши столь безумные, чтобы позавидовать смерти ее последнего и наиболее обласканного ею любовника. Но вы, почтенные, добродетельные дамы, для поцелуев снимающие одни только перчатки, вы, которые так любите прелести семейного очага и благопристойность вашего дома, бойтесь, бойтесь легкомысленного желания, бегите от лукавого соблазителя.

Страна, где воцарился зверь

На полуистлевших от времени листах папируса начертано много сказаний о делах и людях, давно отошедших в неизменную вечность. И вот одно из них. Оно несвободно от неясностей, причина которых, по всей вероятности, в том, что от целой рукописи сохранились лишь обрывки, и смысл целого пришлось восстанавливать, пользуясь аналогиями. Самое название страны неведомо нам, и конец рассказа не сохранился. В тех частях истории, которые носят фантастический характер, не совсем ясно, говорит ли древний летописец иносказательно, или и сам верит рассказу о чудесном превращении жестокого юноши.

Надлежало выбрать царя. И старейшины решили предоставить выбор судьбе. Пред наступлением ночи вынесено было за городские ворота золотое, драгоценными изумрудами и сапфирами украшенное яйцо и положено при дороге в траву. Кто придет из чужой страны, издалека, и поднимет затаенное в траве золотое яйцо, тот и будет царем в городе. Был ли таков обычай того места, или на этот раз особые гадания указали старейшинам города такой способ выбора, — не знаю. Но, по соображению некоторых обстоятельств события, предпочитаю второе объяснение.

Блистающий и светлый взошел над страной пламенеющий в небе Дракон, которому люди дают имя дневного све-

тила, красного солнца, – блистающий и светлый, как и надлежало быть тому дню, когда великий воцарился над тою страшною владыка. Старейшины вышли к городским воротам, а за ними и весь народ, – и все в благоговейном молчании ждали, кого укажет им судьба в цари. И долго дорога была безмолвна и пустынна, словно совещались великие боги или демоны той страны, и колебались долго, на ком им остановить свой чудесный выбор. И наконец, решили.

По дороге, приближаясь к городу, шли два отрока, едва прикрытые грубыми и рваными одеждами. Один из них был смугл, тонок и черноволос; на голове другого вились рыжие кудри, сиявшие золотом в златопламенных взорах воздымавшегося на гору небес Змия. Тело рыжего отрока было оливкового цвета, щеки его пламенели румянцем, и глаза горели ненасытным желанием. Впрочем, лица обоих отроков были так сходны, как будто смуглое лицо одного отразилось в дивно пламеневшем зеркале и возник из-за чародейного стекла румяный и златоволосый двойник.

Весело разговаривая друг с другом, и беспечно смеясь, отроки уже миновали затаенное в траве золотое яйцо. И приближались к городским воротам.

Гулкий тысячеустый ропот толпы вдруг остановил их. Испуганные и смущенные, стояли отроки у края пыльной дороги и озирались вокруг, стараясь понять, на что смотрит и дивится все это шумное множество. Смуглый отрок первый увидел яйцо. И подошел к нему.

– Смотри, Метейя, какая красивая в траве лежит игрушка, – сказал он своему другу.

И поднял яйцо. Рыжеволосый Метейя подбежал к нему и, с жадностью простирая к смуглому отроку руки, воскликнул просящим голосом:

– О, миленький Кения, отдай, отдай мне это золотое яичко! Дай, дай мне его.

Засмеялся Кения и отдал яйцо Метейе, говоря:

– На, возьми. Пусть оно будет твоим, если так тебе его захотелось.

И зардовался Метейя. Подбрасывал яичко и любовался переливною игрою многоценных камней на нем.

Тогда вышли из ворот старейшины городские и поклонились отроку Метейе, держащему в руках золотое яйцо, и нарекли его царем того города.

Возник было в народе спор, кому быть царем. Некоторые легкомысленные юноши говорили, что на черноокого Кению надлежит возложить царскую диадему.

Говорили:

– Черноокий отрок поднял яйцо наше и потом по своей воле дал его рыжему и жадному мальчишке. Черноокому и прекрасному Кении надо быть нашим царем, он щедр и великодушен, как и подобает быть царю.

И прекрасные девы, подстрекая к непокорству любезных им юношей, шептали:

– Золотую диадему на смоляно-черные волосы Кении воз-

ложить, – как это будет красиво!

Но старые люди говорили:

– Царь не тот, который отдает, а тот, который требует и берет. Владыка нужен городу, а не мягкосердечный отрок с женственной душой.

И когда немногие приверженцы Кении вздумали упорствовать и длить бесполезные, но смущающие толпу споры, их связали, и тела их сожгли.

Так воцарился в той стране Метейя. Сказал вельможам:

– С другом моим Кениею шли мы долгим и трудным путем. Черные очи милого моего друга приметили в густой траве мое царское яйцо. Верным и преданным другом моим был и пребудет Кения, и место его да поставится самое первое, по правой стороне от моего царского, блистающего и украшенного ложа. На друга моего Кению самые богатые и красивые, какие только найдутся в городе, наденьте одежды и на руку ему дайте самое дорогое и красивое кольцо.

И сделали так, как повелел царь Метейя. По правой стороне от царя сидел отрок Кения, но не возгордился. Черные глаза его мерцали, как две погасшие, но все еще прекрасные звезды. Уста его алели, как две розы, как две яркие розы, над которыми рыдает соловей. И золотое кольцо с алмазом сверкало на его руке, как вечерняя звезда на багрово-дымном небе заката. И были глаза его без сияния, уста его без улыбки, и руки его не радовались.

Черными и спокойными смотрел он на царя Метейю гла-

зами, и стало грустно царю Метейе, и однажды спросил царь Метейя друга своего Кению:

– Милый друг мой Кения, не завидуешь ли ты мне?

Кения склонил низко голову, как надлежит делать тем, к кому обращено царское высокое слово, и сказал спокойно:

– Великий царь, я тебе не завидую.

Царь нахмурился и спросил снова:

– Милый Кения, не хочешь ли ты быть царем?

И ответил Кения:

– Я не хочу быть царем.

– Кения, ты, может быть, думаешь, – продолжал спрашивать царь, – что ты поднял яйцо и потому имеешь право быть царем?

– Я поднял мое яйцо, – спокойно ответил Кения, – и подарил его тебе, царь. Теперь ты можешь владеть им и царствовать спокойно, – никто не отнимет его от тебя.

Замолчал царь Метейя и не знал, что еще спросить. Но черная досада томила царское сердце. И склонился к царю старейший и хитрейший из вельмож, седобородый Сальха, и стал шептать царю в уши злые и коварные речи.

– Великий царь, сокровище и утешение наше, – шептал Сальха, – твой друг Кения, которого за его красоту так похваляют неразумные юноши и любострастные девы, тот Кения, которого ты, по своей царской милости, возвел на высочайшее место и посадил по правую сторону от твоего пресветлого царского ложа, – он легкомысленно и дерзко на-

зывает своим яйцо, которое было у тебя в солнечно-пламенеющих перстах в то время, когда мы вышли из-за городской ограды и, преклонившись пред твоим величием и твоею дивною красотою, нарекли тебя нашим владыкою. Своим называет он яйцо, которое могущественные боги этой страны вложили в твои державные руки.

Царь Метейя покраснел от гнева, и глаза его засверкали нестерпимым пламенем. Гневные обратил он взоры на друга своего Кению, но не смутился смуглый, черноокий отрок и пребывал безмолвным, неподвижным и спокойным, как черная ночь без зарниц и без звезд.

И приблизился к царю Метейе другой вельможа, творящий в той стране верховный суд, мудрый и злой Ханна, преклонился пред царем и стал шептать ему в уши столь же злые и коварные речи, как и речи коварного Сальхи.

– Великий царь, красотою своею затмевающий прекраснейшие светила небесные, светлым разумом своим и дивными, доблестями превзошедший мудрейших и славнейших в стране нашей и в иных ближних и дальних странах, – так шептал царю злой Ханна, – друг твой Кения, возведенный тобою и щедро награжденный за ничтожную услугу, дерзает думать, а может быть, даже и говорить, что он лучше тебя, потому что он отдал тебе твое царское яйцо и таким образом превзошел тебя в щедрости и великодушии. Друг твой готов стать твоим врагом, великий государь. Воистину, жестокого достоин наказания тот, кто злоумышляет против великого

нашего царя.

Дрожа от гнева, сжимая царский посох в трепетных – руках, густо покрытых рыжими волосами, царь Метейя спросил друга своего Кению:

– Скажи мне, Кения, кого из нас двоих считаешь ты лучшим и более достойным почитания?

– Великий царь, – спокойно ответил Кения, – люди почитают тебя, как своего владыку, и поклоняются тебе, и я с ними. Я – твой верный слуга и раб и пребуду тебе неизменно верным и послушным.

В гневе царь Метейя встал и воскликнул:

– Боги возвели меня на царский престол, потому что я лучше всех людей в этой стране и во всех других, и лучше тебя.

И ответил Кения:

– Царь, ты и я, – отроки, ничего еще не совершившие на земле, достойного похвалы или порицания. Кто из нас лучше другого, никто этого не знает и не скажет.

– Так, – удивляясь дерзости своего друга, тихо сказал царь Метейя, – и в самом деле не думаешь ли ты, что ты лучше меня, своего царя и владыки?

– Великий царь, – возразил Кения, – я этого не думаю. Я думаю, что мы оба одинаковы. Недаром выросли мы вместе и так похожи один на другого лицом. Когда на румяной заре утренней или при багряно-красном небе заката я наклоняюсь к ручью, чтобы утолить мою жажду, мне кажется, что

твое, о царь, лицо с приветливою улыбкой наклоняется ко мне, и твои губы тянутся навстречу моим для сладостного братского целования. Различаясь от меня цветом волос и кожи, пламенея румянцем, который у меня скрыт под смуглым цветом моего тела, ты так похож на меня, как будто отраженное в пламенеющем зеркале мое изображение. Ты прекрасен, как я, и так же, как я, щедр, милостив и великодушен.

И тогда все вельможи подняли шумный, негодующий крик, обвиняя Кению в том, что он осмелился приравнять себя к великому владыке. Яростью наполнилось сердце царя Метейи, и он приказал нещадно бичевать друга своего Кению смолистыми, гибкими плетями.

Когда голый и связанный лежал перед царем Кения, стена и вопя от нестерпимой боли, и багровыми полосами покрывалось его стройное, прекрасное тело, и горячие капли его крови брызгали в лицо царю Метейе, в это время свирепая радость истязаний вошла в сердце юного царя, – и он громко смеялся и радовался воплям и мучениям друга своего Кении. И все множество предстоящих смеялось вместе с ним.

Возопил тогда Кения:

– О, великий царь, вспомни, что это я поднял и отдал тебе твое царское яйцо, – вспомни и сжался надо мною!

В ответ ему закричал диким, громким голосом разъяренный царь:

– Помню, Кения, все помню, – и чтобы ты вперед не величался предо мною, вот, повелеваю верным слугам моим

засечь тебя до смерти.

Исполняя повеление царя, били черноокого Кению до тех пор, пока не затихли его стоны, – и потом вынесли его тело и бросили у порога царского чертога.

С того дня ненасытною жестокостью напиталось сердце царя Метейи, и радостны стали ему вопли истязуемых. Всякого, кто говорил слова сожаления о милом отроке Кении или слова укоризны жестокому и неблагодарному царю, всякого приказывал он приводить к подножию его престола и мучить до смерти.

И веселился.

Потом, пресыщенный зрелищем изуродованных тел, опьяненный запахом горячий, изобильно пролитой крови, упивался он винами и забавлялся с плясуньями, очаровательницами змей, гадательницами и другими распутными женами и девами. Вельможи и старейшины городские не останавливали его и пировали с ним вместе, радуясь, что царь не вникает в дела правления и не препятствует им, алчным и жестокосердным, обогащаться на счет вдов, сирот и голодающих от неурожая. Развратные сыновья вельмож пировали с царем и забавляли его своим бесстыдством.

Настали тогда в стране той дни великого плача и смятения. Жены, девы и юноши тайно сходились в лесах по ночам, сожигали богам многие многоценные жертвы и страшными чарами вызывали и заклинали умерщвленного отрока Кению. И возник из могильного мрака умерщвленный же-

стокими черноокий отрок.

Однажды, когда царь пировал с своими вельможами и неразумными юношами, пришел к нему Кения. И ужаснулись пирующие.

На вечернем небе догорала быстрая заря. Долины полны были мгlistым туманом. Совсем белая на молочно-алом зареве заката светилась первая звезда, – и откинулась вдруг тяжелая завеса царской двери, и темный на светлом зареве зари явился и стал черноокий, черноволосый, весь смуглый, в белой короткой одежде, обнажавшей прекрасные руки и ноги, Кения. Кто-то, бессмысленно-пьяный, еще горланил, повалясь щекою на стол, – но безмолвием и ужасом зачарованы были обращенные на Кению взоры пировавших. Звякнула о кипарисные доски пола выпавшая из чьей-то руки золотая чаша, и покатила тихо, дугообразный чертя по полу путь, между царем и Кениею, и темная, багряная, как кровь, струя вина коснулась нагих ног восставшего из могильного мрака отрока.

Тихо подошел Кения к царю и сел рядом с ним, по правую сторону, на то место, где сидел раньше и куда еще никого не посадил царь.

Царь спросил, трепеща от страха и от гнева:

– Ты жив, Кения?

И ответил ему Кения:

– Я встал и пришел к тебе. Некогда вместе с тобою шел я в этот город, и были мы оба радостны и невинны. Потом, отдав

тебе мое яйцо, рядом с тобою сидел я, незнающий и простодушный. Но вот ярость высокой царской власти распалила твое сердце и разделила нас, и тяжкие по твоей воле перенес я муки. Ныне пришел я к тебе знающий и мудрый и наделенный силою, которой у тебя нет, хотя ты и царь великой страны. Я поднял многоценное яйцо, положенное благими и мудрыми и охраняемое неразумными и злыми. Оно мое, и мое все то, что соединено с его обладанием. Но ныне, изведав, как ярит человека высокая власть, я, Кения, тот, на кого дивно похож лицом царь Метейя, я не хочу быть царем. Да не будет, о великий царь, между нами предмета разделения и раздора. Поделится мирно, – ты оставь себе многоценные изумруды и сапфиры царской власти, а мне отдай тяжелое золото, моими руками поднятое, моею кровью омытое.

Дикий гнев зажег царские взоры, и возопил царь:

– Крамольную слышу речь, мятежный вижу взор непокорного раба. Где же вы, мои верные слуги? Возьмите мятежника, многими измучьте его муками, бейте его перед очами моими, бейте его гибкими смолистыми плетями и кнутами из воловьей кожи, залейте его горло растопленным свинцом, вырвите его черные колдовские глаза.

Так все сделали, как повелел жестокосердно усердным рабам их жестокий царь. Страшным голосом вопил истязуемый отрок. Выше перистых облаков возносились его пронзительные вопли. Выше небес взлетали бы они, если бы над землею простирались небеса.

Замучили до смерти, выволокли изуродованный труп за городскую ограду и бросили на гноище. А вдалеке в это время, чуя свежую кровь, выли трусливые шакалы.

Пели в царском чертоге хриплыми с перепоя голосами веселые и непристойные песни. Плясали перед царем голые блудницы. Царь хохотал и тонким хлыстом подстегивал плясуний, чтобы вертелись проворнее. Полупритворные визги голых блудниц радовали его.

И опять длились дни жестокостей и злодеяний. И опять в глухих лесах заклинали страшными ночными чарами замученного отрока. И опять возник Кения, и опять пришел в царский чертог. Изрубили его на куски и бросили его собакам.

И когда опять пришел Кения, сожгли его вместе с тысячью плакавших о нем юношей и дев. Всех загнали в один дом, обложили его сухим хворостом, облили хворост смолой и зажгли. Радостно-яркое высоко взметнулось пламя, обливая багровою кровью ночные облака, и дикий вопль тысячи сожигаемых разносился далече окрест, пугая свирепых тигров, рыщущих в прибрежных тростниках в поисках за живую добычею. А люди, угождая свирепому своему владыке, плясали вокруг объятого пламенем дома.

Но опять пришел Кения. И ужаснулся разъяренный царь. Спросил непрестанно восстающего отрока:

– Или бесконечными хочешь ты сделать твои и мои муки?
Улыбаясь, возразил Кения:

– Твоя воля, великий царь. Отдай мне мое золото, и будешь покоен.

– Не отдам, – возопил царь, – снова и снова предам тебя несказанным мучениям, доколе не утомишься страданиями, доколе не уйдешь в вечную тьму!

– Царь Метейя, – возразил Кения, – уже не могу я сойти с того круга непрерывных возвращений к тебе, на который поставили меня верховные силы. Или отдай мне золото моего яйца, или своими зубами загрызи меня, пожри меня, как дикий зверь пожирает добычу, которую подстережет в пустынном месте. И станешь тогда зверем, но зато победишь меня, и к тебе, зверю, уже я не приду никогда.

Поник головою царь Метейя. Долго думал. Наконец сказал:

– Да будет так. Я – царь, и мне надлежит победить тебя, какую бы то ни было ценою. Лучше быть зверем, побеждающим и торжествующим, чем человеком, который уступает и отдает свое.

Засмеялся черноокий Кения. Тогда дивное превращение в один миг свершилось с царем. Все тело его покрылось густою рыжею шерстью, такого же цвета, какими были у Метейи волосы. Гибким, как у бенгальского тигра, стало тело Метейи, опустилось на четвереньки, – взметнулся внезапно выросший напряженный хвост, – острые когти явились на руках и ногах, обратившихся в огромные страшные лапы. Прекрасная страшно изменилась голова: челюсти стали

огромны, и ужасные во рту засверкали клыки, белые, изогнутые, острые. Зеленые огни зажглись в округлившись глазах Метейи. Яростно вопиющий голос царя Метейи стал рыканьем дикого зверя, наводящим ужас на отважнейших мужей. Проворным, могучим прыжком бросился обращенный в зверя Метейя на Кению и, радостно мурлыча и ворча, стал пожирать его сладкую плоть, дробя зубами его кости, и трепетно прядали косматые звериные уши, внимая последним воплям Кении.

Пожрал друга своего царь Метейя, обратившийся в зверя. Вельможи и старейшины радовались и славили царя Метейю. Говорили они, упоенные злобною радостью:

– Дивное чудо сотворили великие боги в знак милости к нашей стране. Возлюбленному царю нашему Метейе дали они грозный облик зверя, чтобы его страшные когти и могучие челюсти сокрушали кости его врагов, как хрупкий, хрустящий тростник.

И водили зверя по улицам на страх трепещущим врагам. Блистающею диадемою увенчана была голова зверя, алмазное ожерелье висело на его шее, яркие яхонты и блистающие изумруды сверкали в рыжей звериной шерсти. Благоуханными цветами нагие девы осыпали путь зверя, – и облит был жаркою кровью его страшный след. Народ повергался ниц перед высоким зверем, и зверь выбирал себе добычу среди покорно склоненных и нежные пожирал тела юношей и дев.

Темен конец повествования. Дева с горящим углем в гру-

ди (может быть, следует читать «дева с пламенным сердцем») умертвит зверя, – так обещали ночные гадания в тайном лесу. Но был ли умерщвлен зверь? Освободились ли из-под ужасной власти свирепого зверя трепетавшие перед ним люди? Неведомою осталась судьба страны, где воцарился зверь, и самое имя страны поглощено забвением.

Мудрые девы

В украшенном цветами и светлыми тканями покое Девы ждали Жениха. Их было десять, они были юны и прекрасны, и были среди них Мудрые девы, и были Неразумные.

Вечер отгорел и погас, как погасает в небе каждый вечер. Дыхание темно-синего холода простерлось над землей, и далекие, вечные звезды начали свой медленный хоровод. Девы приготовили все, что надо было для брачного пира, и сели за стол. Одно место среди них было пусто, – то было место для Жениха, которого ждали, но которого еще не было здесь.

Десять светильников горели перед Девами. На белой скатерти стола стояли сосуды с вином и хлебы.

Тихие голоса беседующих Дев. Черная ночь молчала в саду за окнами украшенного брачного чертога, – а издали доносились откуда-то веселые песни, смех, музыка, шумные восклицания. Там, недалеко от дома, где ждали Девы Жениха, веселились и пировали Девушки, юные Женщины и праздные Молодые люди, – и всем им не было никакого дела ни до Жениха, приходящего во тьме и тайне, ни до невесты, таинственно зажигающей высокий свой светоч. Они, беспечные, плясали, и пели, и смеялись, и славили сладостные очарования буйной жизни. В их песнях говорилось о том, что жизнь дается каждому только один раз, что юность пролетает быстро и что надо торопиться вкусить ее восторги и ула-

ды, пока еще кровь горит избытком стремительных сил. Тихо беседовали Девы:

- Теперь уже скоро придет Жених.
- Да, мы скоро дождемся его.
- Как они там шумят!
- Как безумны их песни!
- Как грубо звучит в ночной тишине их хохот!
- Жениху будет неприятен этот шум.
- Жених добрый, – он не осудит.
- Он уже скоро придет.
- Не он ли это вошел в сад?
- Не он ли стоит у порога?
- Не он ли заглянул к нам в окно?
- Не пойти ли нам к нему навстречу?
- Нет, в саду пусто и тихо.
- У дверей нет никого.
- Только черная ночь смотрит к нам в окна.

Длилась ночь. Ждали Девы.

Беседовали тихо. Все громче и веселей становились голоса пирующих.

Жених не приходил.

– Его все еще нет, – говорили опечаленные Девы. – Он придет в полночь, – говорили они, утешая себя.

- Будем ждать.
- Как долго!
- Как скучно!

– Не надо роптать на Жениха.

– Он придет.

– Надо ждать, – он утешит нас.

– Как долго ждать! Уже и полночь прошла.

Стали роптать Неразумные девы. Они говорили:

– Мы здесь сидим и ждем, а он забыл о нас.

– Может быть, и не придет.

– Может быть, он пирует с другими.

– Зачем же мы ждем его, глупые?

– Как весело там!

– Не смешно ли, что мы сидим здесь, за накрытым столом, а сами не пьем и не едим, и не радуемся и ждем Жениха, который не приходит, хотя уже прошли назначенные сроки!

– Не пойти ли нам туда, где так весело?

– Подождите, – говорили Мудрые девы. – Жених придет.

– Он стукнет в дверь, станет на пороге, посмотрит на нас благостными очами, – и тогда начнется у нас веселье, более светлое и радостное, чем то, которому вы завидуете.

Но уже не захотели Неразумные девы ждать дальше. Они говорили:

– Мы пойдем туда, где весело. Идите и вы с нами. Если Жених не пришел вовремя, то он может сходить за нами и туда, где мы будем. Можно оставить ему на столе записку.

И взяли Неразумные девы свои светильники и ушли, – шесть Неразумных дев.

Остались четыре Мудрые девы. Они сели близко одна к

другой и тихо беседовали о Женихе и о тайне, и ждали.

Но Жених не пришел. Тишина и печаль томились и вздыхали в украшенном брачном покое, где Мудрые девы проливали тихие слезы, сидя за столом, перед догорающими светильниками, перед нетронутым вином и неначатым хлебом. Дремотные смежались порой очи, и грезился Мудрым девам Жених, стоящий на пороге. Радостные вставали они со своих мест и простирали руки – но не было Жениха с ними, и никто не стоял на пороге.

Догорели светильники, побелели окна, птичьими щебетаниями засмеялся утренний сад, – и поняли Мудрые девы, что Жених не придет. Они склонились над столом и плакали долго. Чем ярче пылала заря, тем бледнее становились их щеки.

Тогда сказала мудрейшая из Дев:

– Сестры, сестры! Вот уйдем мы домой и потом станем вспоминать эту ночь. И что же мы вспомним? Мы ждали долго, – и Жених не пришел. Но сестры и Неразумные девы, если бы они были с нами в эту ночь, не то ли же самое сохранили бы воспоминание? На что же нам мудрость наша? Неужели мудрость наша над морем случайного бывания не может восславить светлого мира, созданного дерзающей волей нашей? Жениха нет ныне с нами, – потому ли, что он не приходил к нам, потому ли, что, побыв с нами довольно, он ушел от нас?

Радостны стали Мудрые девы и перестали плакать. Они

налили вино в свои чаши, и разломали хлеб, и ели, и пили, и веселились.

– Жених ушел от нас рано.

– Краткое время побыл с нами Жених, – но сердца наши утешены и кратким его пребыванием с нами.

– Жених ушел, но он – наш возлюбленный Жених.

– Он любит нас.

– Он оставил нам золотые венцы на головах наших.

Окончив свою радостную трапезу, встали Мудрые девы из-за стола. На пороге брачного чертога остановились они все четыре, обнимая одна другую, и простерли с прощальным приветом свои руки вслед уходящему Жениху. Глаза их были полны слез, и лица их были бледны, и губы их улыбались печально.

В это время окончился шумный пир, и шесть Неразумных дев возвращались домой. Остановясь у порога, где стояли Мудрые девы, Неразумные смеялись, дразнили Мудрых и спрашивали:

– Дождались Жениха?

– Весел был ваш пир с Женихом?

– Что же вы одни и Жениха не видно с вами?

Мудрые девы ответили им кротко:

– Жених ушел.

– Мы его провожали.

– Вот уже белый хитон его мелькнул в последний раз из-за деревьев и не виден больше.

– В ту сторону, где восходит солнце, ушел Жених.

Не верили им Неразумные девы, громко смеялись и говорили:

– Вам стыдно сознаться, что Жених не пришел к вам.

– Чем вы докажете, что он был с вами?

– Покажите нам его подарки. Мудрые девы отвечали:

– Он подарил нам золотые венцы.

– Он сам надел их на наши головы.

– Разве вы не видите золото наших венцов над нашими головами?

Неразумные девы, – пять из них, – смеялись и говорили:

– Никаких нет венцов на ваших головах.

– Вы сами себя уличаете вашей выдумкой.

– Должно быть, во сне видели вы, как приходил к вам Жених.

– Напрасно вы проскучали всю долгую ночь, – идти бы вам лучше было за нами.

И ушли от порога пять Неразумных дев, издеваясь над Мудрыми девами и всячески понося их. Одна же из них осталась у порога. Она упала к ногам Мудрых дев, покрытым холодной утренней росой, и целовала ноги Мудрых дев, и плакала горько, и говорила:

– Счастливые, счастливые Мудрые девы! Как завиден ваш высокий удел! С вами пировал Жених, которого не увидели мои очи и очи моих безумных подруг.

На ваши мудрые головы он своими руками надел золотые

венцы, светло сияющие, как четыре великие солнца. На ваших руках – святыня его прикосновений, на ваших губах – благоухание его поцелуев. О я, Неразумная! О я, несчастная! Умереть бы мне у ваших ног, лобзая ступени, по которым к вам восходил Жених.

Мудрые девы подняли свою прозревшую в этот ранний час сестру и целовали ее, и утешали нежно. Они говорили ей:

– Милая сестра, ты увидела на головах наших венцы, которых не могли увидеть Неразумные девы.

– Мудростью и ведением тайны наделил тебя Жених.

– Венец, который был на голове Жениха, он оставил нам для той, которая придет от неразумия к мудрости.

Коснулись Мудрые девы нежными пальцами ее головы и сняли с нее поблекшие цветы буйного веселья. Говорили:

– Вот мы надели на тебя, милая сестра, золотой венец.

– Как ярко сверкает твой венец в лучах восходящего солнца.

– Возлюбленный Жених, подаривший тебе этот блистающий венец, и сам придет к тебе, когда настанет время.

Одна за другой, по высокой лестнице брачного чертога и по дорогам сада, ступая на те места, которых касались ноги Жениха, шли пять Мудрых дев, увенчанные золотыми венцами, сияющими, как великие светила. С глазами, полными слез, и с сердцами, объатыми пламенем печали и восторга, шли они возвестить миру мудрость и тайну.

Сказка гробовщицовой дочери

Нет ничего странного в том, что молодой чиновник Леонтий Васильевич Ельницкий влюбился в молодую мещанскую девушку Зою Ильину. Она же была девица образованная и благовоспитанная, кончила гимназию, знала английский язык, читала книги, и давала уроки. И, кроме того, была очаровательна. По крайней мере, для Ельницкого.

Он охотно посещал ее, и скоро привык к тому, что вначале тягостно действовало на его нервы. Скоро он даже утешился соображением, что как никак, а все же Гавриил Кириллович Ильин, Зоин отец, был первым в этом городе мастером своего дела.

Гавриил Кириллович говорил:

– Дело мое не какое-нибудь эфемерное. Это вам не поэзия с географией. Без моего товара и один человек не обойдется. И притом же дело мое совершенно – чистое. Гроб не пахнет, и воздух от него в квартире крепкий и здоровый.

Зоя часто сидела в складочной комнате, где хранились заготовленные на всякий случай гробы. Одета пестро и нарядно, – у отца много оставалось атласа, парчи и газета, – и даже со вкусом, Зоя часто звала туда и своего друга.

– Пойдемте в складочную, Леонтий Васильевич, – говорила она, – там тепло и сухо, и там хочется говорить сказки. Там каждая доска пахнет вымыслом.

Они шли в складочную. Там Зоя рассказывала Леонтию Васильевичу вычитанные из книг истории и сказки, очень сильно изменяя, и дополняя их своими вымыслами. Ельницкий сначала неловко поеживался, и хмуро посматривал кругом, а потом принимался развивать перед Зоею свои взгляды.

Порою Зоин отец приходил сюда, за делом или просто так послушать их разговоры. Если за делом, Зоя и Ельницкий уходили в другие комнаты. Если просто так, они продолжали разговаривать, а он слушал, поглаживая седые длинные усы и весело сверкав синими, как у дочери, все еще молодыми глазами. Кто всмотрится внимательно в эти глаза, тому понятно станет, что они многое видели, и многое привыкли замечать.

Старик и сам сказал однажды Ельницкому, когда они сидели все трое в складочной:

– Я все вижу, я все знаю. Конечно, мелкотою мне, до моей популярности, заниматься не приходится, но что касается почтенных жителей нашего порода, я знаю срок каждому и размер. Как только умер, у меня все готово. Конечно, для видимости прикинешь мерочку, но только, скажу с интимною откровенностью, мог бы и не беспокоить покойника. Только поставить прибор по желанию родственников.

Леонтий Васильевич недоверчиво усмехался, а старик продолжал:

– Видите, здесь сложены гробы разных размеров; длина,

ширина, все к кому-нибудь пригнано. Глаз у меня наметанный, а мерка у меня живая.

Зоя слегка покраснела и улыбалась, а Леонтий Васильевич спросил:

– Какая мерка?

Старик объяснил охотно:

– Зою мою вожу в церковь, на гулянье, в театр. Станет рядом с кем надо, а уж мне и видно, какая разница в росте, в ширине. На один сантиметр не ошибусь. Конечно, людей в городе много, есть и совпадения в размерах, и на иную домовину у меня по несколько кандидатов. Списочки веду.

Леонтий Васильевич вспомнил, как на днях Зоя подошла и стала рядом с ним, и старик смотрел на них внимательно. Холодок пробежал по его спине. Он укоризненно посмотрел на Зою. Она отвернулась, и легким движением гибкой руки показала на один из гробов.

– Вот мой размер, – сказала она равнодушно.

– А вам не жутко? – спросить Ельницкий.

– Я ведь здесь выросла, – спокойно ответила она.

Когда Ельницкий уходил в тот вечер домой, ему казалось, что он никогда не перешагнет порога складочной. Но на другой же день Зоя опять повела его туда, и он послушно пошел за нею. Невеселыми глазами он окинул ряд гробов, и спросил, стараясь говорить шуточно:

– Который же тут по моему размеру?

И с досадою услышал, как дрогнул его голос.

Зоя спокойно улыбнулась, и сказала:

– Срок настанет еще не скоро.

Сказала так уверенно, как будто бы знала. И звук ее слов внес удивительное успокоение в душу молодого человека. А Зоя ласково погладила края своего, гроба, и сказала:

– И в этот ляжет кто-нибудь другой, не я. Мне почти жаль, – я к нему привыкла, и запомнила узор его досок.

Все отчетливее с каждым днем понимал Ельницкий, что любит Зою. Он был уверен, что и она любит его. Их встречи были часты и радостны, их разговоры – доверчивы и ясны. Они иногда говорили друг другу ты, почти не замечая этого. Но о любви своей еще молчали. Что-то удерживало Ельницкого. А Зоя спокойно ждала, терпеливая и уверенная, точно и в самом деле знающая все сроки.

Однажды Ельницкий спросил ее:

– Зоя, ты – мечтательница. Но в этой мрачной обстановке можно ли мечтать о любви?

Зоя посмотрела на него внимательно и нежно, и голос ее был сладок и звонок, когда она говорила:

– На могилах цветут розы, над гробами возникает любовь. Мать земля сырая любить нас и тогда, когда мы цветом, и тогда, когда мы отцветаем. Она радуется и славит Бога каждый раз, когда рождается человек.

В середине декабря однажды Ельницкий пришел к Зое вечером. Горели лампы, было тихо. Он прошел в складочную. Зои было не видно. Он проходил мимо гробов, чтобы сесть у

печки, погреться, подождать, – в передней ему оказали, что Зоя дома. Взор его дотоле невнимательный, вдруг остановился на одном гробу, стоявшем на скамейке: там он увидел Зою, вздрогнул и остановился.

Девушка спала, лежа прямо на досках; ее голова покоилась на сложенных руках; губы нежно улыбались, и дыхание было безмятежно-ровное.

Ельницкий тихо позвал:

– Зоя!

Девушка открыла глаза.

– А, это – ты, – оказала она, приподнимаясь. – Сегодня я очень устала. А если очень устанешь, то всего слаще отдыхать на голых досках.

– Выходи, – сказал он хмуро.

Взял ее за плечи, и потянул к себе. Она легко и ловко спрыгнула на пол.

– Я чуть не упала, – сказала она. – Ты так сильно меня потянул. Или вы все такие жестокие?

– Жестокие? Почему? – с удавлением спросил Ельницкий.

– У людей все так, – говорила Зоя, – во всем проявляется жестокость, только по-разному, сильнее, послабее. Удар кинжалом в сердце или в глаз, укусы, поцелуи, – разные звенья одной цепи. Ты читал сегодня о том, что они сделали с сестрою милосердия?

– Что? Нет, я не читал, – сказал Ельницкий.

Зоя взяла развернутый лист газеты «Речь». Показала ему.

– Читай, вот здесь.

Он прочел. Крикнул, внезапно охваченный гневом:

– Какие мерзавцы!

Зоя говорила:

– Ты только представь себе весь ужас ее муки! В холодную ночь стоит нагая, привязанная к дереву. На нее светят фонарями, десяток молодых, сильных парней, хохочут и бросают в нее ножи. Потеха длится долго, кровь течет по телу, нож торчит в ее глазу, – подумай, представь себе это! Теперь скажи мне, – может быть, это – неправда, или непроверенный, преувеличенный слух? Тогда как смеет газета печатать об этом? Или это – правда? Тогда отчего весь мир не содрогнется, не восстанет, не уничтожит злое племя?

– Так нельзя рассуждать, Зоя, – возразил Ельницкий, – это – злодеи, преступники, которые могут быть в каждой стране.

Зоя покачала головою.

– Если это может быть в каждой стране, если так надругаться над сестрою может француз и англичанин, так ведь это – такой ужас, от которого можно с ума сойти или проклясть все человечество. Я знаю, люди прочтут это так же, как они читают о всяком преступлении. Кое-кто немножко поволнуется. Но всем все равно. Пока нас не тронули, нам все равно. Мы все – жестокие звери.

Ельницкий почувствовал, что мысли его разбегаются, так много можно было бы спорить против этих нелепых и несправедливых слов, но ему не хотелось почему-то гово-

ритель.

Зоя посмотрела на него, и засмеялась невесело.

– Вижу, ты не согласен со мною. Вот, слушай, я расскажу тебе сказку из этой книги. Читал эту книжку?

Ельницкий взял с не крашеного березового столика у печки книгу в белой обложке с зелено-золотым рисунком, и прочел ее титул: «Тути – Намэ. Сказки попугая. Москва. Кн-во К. Ф. Некрасова».

– Не читал.

Зоя, переиначивая, как всегда, прочитанную, сказку, говорила неторопливым и ровным голосом:

– Один добрый и богатый купец в Багдаде, по имени Халис, роздал все свое имущество дервишам, бедным и сиротам. У него не было детей, куда беречь деньги! Но, видишь ли, когда делаешь что-нибудь, то легко увлечься чрезмерно. Он все роздал, понимаешь, буквально все, так что у него остался только дом с голыми стенами, и нечего есть, и не на что купить пищи. И он подумал: ну что ж, дом продам, деньги раздам, сам как-нибудь проживу, – одна голова не бедна, а и бедна, так одна. И уже он условился с другим купцом, что тот завтра принесет деньги, а Халис передаст ему дом. Тот купец был жадный, он видел, что Халис торопится кончить это дело, он и воспользовался случаем неправо обогатиться, я предложил Халису гораздо меньше денег, чем сколько стоил дом. Ну, Халис торговаться не стал. Но вот он ночью увидел во сне человека, одетого в блистающие одежды.

Очень испугался, думает, – пришел за моею душою. А потом успокоился, подумал опять, – ну, что ж, на земле я ничего не оставляю. Но светозарный муж узнал его мысли и сказал ему: «Не хочет Бог твоей смерти и твоей нищеты. Ты останешься в этом доме, и у тебя будет жена, и она родит тебе сыновей и дочерей. Слушай, – завтра я приду к тебе, принявши облик брамина. Ты ударь меня палкою по голове, и я рассыплюсь золотом». Так он говорил, и Халис запомнил все его слова. Но ты подумай, друг мой – надо нанести удар, чтобы обрести свое сокровище. Какой верный образ нашей злобы и жестокости!

Зоя замолчала. Потом сказала тихо:

– Не стоит, пожалуй, досказывать сказку. Ты сам догадаешься, что все так и случилось. Добрый был награжден, жадный наказан.

Но, увлекаясь рассказом, продолжала:

– Спросишь, как был наказан жадный? А вот как. На утро пришел купец с деньгами, – поторопился придти пораньше, чтобы кто-нибудь другой не дал больше. А следом за ним вошел в дом Халиса брамин. Он был одет в желтый шелк, лицо у него было сморщенное и желтое, из-под желтой парчовой шапки видны были редкие пряди золотистых волос, и руки его были желты, в весь он был словно сбит из золота. И сказал он Халису: «Халис, прогони этого купца, он дает тебе мало денег». Халис сказал: «Мы условились с этим человеком, и я должен принять его деньги и отдать ему дом».

Но брамин стал между Халисом и жадным купцом, и мешал им приступить к расчету. Тогда Халис вспомнил свой сон, схватил палку, и закричал: «Уйди отсюда, или я тебя поколочу». Ведь он был человек добрый, и рука его не поднималась ударить человека без предупреждения. Но брамин не уходил, и настаивал на своем. Тогда Халис ударил брамина по голове. Брамин заблестел, голова его зазвенела, он осел, в вдруг рассыпался громадною кучею золотых монет. Халис отсчитал девяносто девять монет, отдал их жадному купцу, и сказал: «Теперь ты и сам видишь, что я должен поступить так, как мне приказывало это золото, пришедшее ко мне в образе брамина. Возьми эти деньги, и никому не говори о том, что ты здесь видел». Купец сказал: «Хорошо, я откажусь от нашей сделки за эти девяносто девять монет, но в придачу дай мне твою палку». Халис согласился. Он знал, что не в палке сила. А жадный купец вздумал, что в этой палке заключена чудесная сила, и что стоит ударить ею любого брамина, и тот рассыплется золотом. Пошел жадный купец домой, и послал своих слуг ко всем браминам того города, которые он знал, звать их на пир в тот же вечер. Брамины пришли, и купец дал им много вина. Когда они упились, он затеял с ними ссору, схватил Халисову палку, и принялся бить их по головам. Крови пролилось не мало, а золота не было ни одной монеты. Брамины подняли страшный крик, сбежалось много народу, купца взяли под стражу, и утром привели к судье. Судья спросил: «За что ты бил браминов?»

«Купец отвечая: «Халис научил меня этому». И рассказал, что видел у Халиса. Послали за Халисом, и судья сказала: «Слушай, что показывает на тебя этот человек». Халис выслушав рассказ купца, и сказал судье: «Господин, спроси у соседей моих, кто видел брамина, вошедших в мой дом, и спроси у браминов, не исчез ли кто-нибудь из них, кого ищут и не находят». И никто не видел брамина, вошедшего в дом Халиса, и не было среди браминов никого пропавшего, кого искали и не находили. И велели судья бить купца палками, все золото его взяли и роздали обиженным браминам.

Зоя замолчала. Ельницкий сказал:

– Каждый день, Зоя, ты рассказываешь мне сказки. А самая лучшая сказка, знаешь, какая?

– Знаю, – сказала Зоя, – та, которую мы делаем из своей жизни.

– Зоя, – спросил он, – ты любишь меня?

– Не знаю, – сказала Зоя, – ведь ты еще не ударил меня ни разу ни по голове, ни по сердцу, чтобы я стала твоим сокровищем, золотом твоей жизни.

Она смеялась, и смотрела на него дерзким, вызывающим взглядом.

– Как же я могу тебя ударить? – спросил он смущенно.

– Никакого клада не возьмешь просто, – отвечала Зоя.

Она стояла перед Ельницким, дразня его все тою же дерзкою усмешкою и настойчивым взором потемневших, злых глаз.

– Как же можно бить тебя? – спросил Ельницкий. – Ты слабее меня.

Он чувствовал, что голова его кружится и сердце замирает. Злое наваждение овладевало им. Зоя засмеялась. Неприятно резок был ее смех.

– О! – воскликнула она, – я вовсе не такая беззащитная. Видишь, нож на столе лежит. Он острый, и конец его тонок. Он легко войдет в твое сердце, если ты оплошаешь.

Она побледнела, губы ее задрожали, и рука потянулась к ножу.

– Злая ведьма! – закричал Ельницкий.

Точно движимый чужою волею, он ударил Зою по щеке. Удар был неожиданно силен и звонок, и под своею рукою почувствовал Ельницкий зной вдруг вспыхнувшей нежной девичьей щеки. Зоя покачнулась, метнулась в сторону. Ельницкий ужаснулся тому, что случилось.

«Что я сделал? Я ударил любимую девушку! Какой позор!» – коротко подумал он.

Зоя вдруг пронзительно, закричала, схватила нож, и бросилась на Ельницкого. Лицо ее было искажено бешеною злобою, синие глаза казались слитыми в малые круги нестерпимо острыми молниями. С ужасом и восторгом глянул на нее Ельницкий, – никогда не была так прекрасна Зоя, как в эту гневную минуту. Он схватил одною рукою кисть ее правой руки, в которой сверкал нож, – едва успел схватить и отвести вниз, – конец ножа уже разрезал его одежду, и остро ца-

рапнул кожу на груди, – другая его рука тяжело легла на ее плечо и шею. Она бешено рвалась в его руках, налегая всем телом на его грудь. Вдруг он почувствовал боль в левой ноге, вскрикнул и упал, увлекая за собою Зою. Он ушибся головой о край скамьи, и, теряя сознание, услышал над собою отчаянный Зоян вопль.

Когда он очнулся, он лежал в гостиной на диване. Зоя стояла перед ним на коленях, плакала и целовала его руки. Старик смотрел насмешливо, и говорил:

– Пустяки, две легонькие царапины. До свадьбы заживет.

Ельницкий вспомнил, что именно этими словами в детстве утешала его старая няня. Он засмеялся.

– Зоя, – сказал он, – ты – мое сокровище. Когда же ты доскажешь мне твою сказку?

– Зоя – сказочница, – отвечал за нее старик, – своим детям она наскажет сказок.

– Своему сыну Зоя расскажет, – тихо говорил Ельницкий, – как его отец пошел на войну. Видишь, Зоя, я догадался, – жаль, немного поздно, – как тебя надо ударить, – по сердцу, – уйти от тебя, уйти, чтобы наносить удары и побеждать.

– Ты ко мне, вернешься, – со странною уверенностью сказала Зоя.

– Не знаю, Зоя, – отвечал он, – да и не все ли равно!

Старый гробовщик покачивал головою, и говорил:

– Еще не скоро, дети, настанет ваш срок уйти в тесные

дома.

Милый паж

I

В некоторой благословенной и цветущей стране, на высоких берегах у прекрасной реки, текущей с увенчанных вечным снегом южных гор к великому Северному морю, лежали обширные земли, подвластные могучему владельцу. На самой высокой скале, неприступный и господствующий над всеми окрестными путями, гордо стоял графский замок.

Уже граф был в преклонном возрасте, уже он схоронил шестерых жен, молодых и прекрасных, но бесплодных. Древний род его пресекся бы с его смертью, но судьбе угодно было восстановить, хотя и странным способом, блеск и долгоденствие во многих землях прославленного рода.

Граф был богат. Походы в земли неверных и многочисленные набеги на зарубежных близких врагов, в которых любил он в годы юности и зрелого мужества принимать участие, обогатили его многими изящными и дорогими вещами, — тканями, оружием, всякою утварью и одеждами, — и графский замок был украшен на диво пышно.

Из походов на восток вынес граф пристрастие к роскоши и красоте, к сладким винам, к ароматичным курениям

и пропитанным пряностями мясам. Ласкать красавиц любил граф, и любил, чтобы взоры его ласкала красота изукрашенных стен и сводов, тонко чеканенных сосудов на пирах, и роскошных одежд на красавцах и красавицах. Только прекрасные лицом, стройные телом и ласковые в обращении отроки с приветливыми взорами удаивались высокой чести попасть в число пажей к веселому и мудрому старому графу.

Много мужественных оруженосцев, красивых пажей и усердных слуг было у графа, и все они любили своего господина, и служили ему преданно и верно, как подобает добрым слугам, душою и телом и всею крепостью сил. Верные вассалы, и жены их, и дети их исправно несли милостивому графу установленные оброки и дани. Три жирные капеллана прилежно отмаливали каждое утро графские грехи, – так как и деяния знатных господ подчинены отчасти божеским и человеческим законам.

II

В окрестной стране цвело тогда много прекрасных и юных благородных девиц, а потому старый граф, решившейся снова, как для продления рода, так и для своего собственного удовольствия, вступить в брак, невдолге избрал себе по сердцу своему в этом прелестном цветнике достойную его высоких доблестей и славного имени супругу. Та была нежная и скромная Эдвига, дочь одного из соседних баронов, девица,

блистающая красотой и разумом, и обученная не только всяким, приличным знатной даме, рукоделиям, но даже и грамоте.

Эдвиг была веселого нрава, любила невинный забавы и застольные шутки, и когда старый граф ввел ее к себе женою, в его древнем замке началось еще более роскошное и веселое житье. Ибо старый граф полюбил нежную Эдвигу сильнее, чем прежних жен, и весьма заботился о том, чтобы доставить ей много удовольствий и радостей. Но так как уже телесные силы графа были в упадке, – то графиня Эдвиг скоро начала втайне скучать, и лукавые помышления вошли в её сердце. Всему же ведь свету известно, что женщины изменчивы и коварны, и что женская верность требует тщательного призора.

Эдвигины взоры стали почасту и подолгу блуждать по лицам пажей, словно нужная Эдвиг искала себе утешителя. И наконец, на одном из пажей остановились желания прекрасной госпожи, при чем следует сказать, что и взыскательный к красоте граф одобрил бы графинин выбор, если бы знал, и если бы мог позволить ей измену.

Черноокий, смуглый, тонкий и ловкий паж Адельстан затмевал красотой всех окрестных юношей, подобно тому, как ясно сияющая луна затмевает свет близких к ней звезд. Уже на верхней губе его пробивался пушок, столь радующий сердце отрока, который готов почувствовать себя мужем. Черные глаза его блистали из под длинных ресниц, как

в черную ночь разожженные ярко факелы, – и, осененные длинными ресницами, ярко пылали его смуглые щеки, так пылали, что ни одна из окрестных красавиц не могла глядеть на них, не мечтая о том, чтобы осыпать их поцелуями. И так как уже многие из них целовали его, лукавые, говоря, что еще он ребенок, то он приобрел привычку к любезному отхождению, и уверенность в своем превосходстве над другими юношами. И потому он так прямо и гордо держался, и так высоко поднимал свою голову, как будто бы он был королевич, – а ведь отец его был только бедный и незнатный рыцарь. Притом Адельстан умел играть на лютне, и, обладая приятным и сильным голосом, знал много романсов, в которых воспевались красавицы, а также и разных других песен.

Адельстан смотрел на графиню почтительно и нежно, но улыбался иногда так дерзко, что графиня краснела и замирала, и в улыбки прекрасного пажа открывалось ей обещание радостного рая.

Когда однажды граф уехал на несколько дней, графиня пожелала, чтобы Адельстан остался при ней в замке.

– Я этого хочу, – сказала она графу, – потому что он самый скромный из пажей, и у него глаза такие же, как у вас. Глядя на него, я буду вспоминать вас, и не стану так скучать в разлуке с вами.

Граф исполнил желание своей супруги. Он и сам любил Адельстана, и знал, что Адельстан – отрок верный ему во всем и до конца.

Ш

На высокой башни замка, глядя вслед уезжающему графу, и махая в знак прощального приветствия своим белым платком, прекрасная Эдвиг тихонько сказала Адельстану:

– Милый паж, эта ночь наша. Я хочу, чтобы ты пришел ко мне, когда ночная темнота упадет на землю, и покроет сладостным покровом и отдыхающих от трудов, и ожидающих отрадных лобзаний.

Адельстан отвечал Эдвиге:

– Милостивая графиня, сладки лобзания уст твоих, но ты принадлежишь моему и твоему господину, и если откроется наша измена, то могущественный граф сократит список моих и твоих прегрешений, вместе со счетом наших дней и с длиною наших тел.

– Граф ничего не узнает, – сказала веселая Эдвиг, – а мы проведем вместе несколько сладких ночей.

– Милостивая госпожа, – сказал Адельстан, – я дал обещание верно служить моему возлюбленному господину, и я боюсь, что изменою погублю свою душу, а потому лучше ты не соблазняй меня.

– Грех мы успеем замолить, – сказала Эдвиг, – но ты, может быть, любишь другую, красивее меня?

– Милостивая графиня, – отвечал Адельстан, – я люблю только тебя и моего господина, а на свете нет, конечно, ни

в благородном, ни в простом сословии жены или девы прелестнее тебя, и с тобою лишь одна рожденная из морской пены богиня Венус могла бы сравниться красотой, но не превзойти тебя.

Эдвига засмеялась лукаво, и спросила:

– Милый паж, изведаль ли ты радости любви? Восходил ли ты на ложе к женам или к девам?

Адельстан из скромности потупил взоры, и ответил Эдвиге так:

– Нет, милостивая госпожа, на ложе к женам и к девам я не восходил.

И на это Эдвига сказала:

– Милый паж, как-же ты отказываешься от того, чего не знаешь? Приди ко мне, и ты увидишь, что игра столь нужная не может обременить совесть. Я обнажу перед тобою свое тело, я положу тебя на свое ложе, я научу тебя всем приятным забавам любви.

И Адельстан не знал, что ответить. В блистающих глазах его загорался тусклый огонь желания, и багряная краска стыда покрыла его смуглые щеки, отчего он сделался еще желаннее для юной Эдвиги.

Но напрасно в эту ночь прелестная Эдвига ожидала Адельстана, – открыв двери в свою опочивальню, удалив своих служанок, лежала она знойная от желаний, и нетерпеливыми взорами пронзала ночную темноту. Каждое легкое шуршание тканей, и каждый звук, столь обычный в ночной

тишине, возникающей по неведомой причине – ибо ночью совершается многое, чего мы не можем знать, – каждый звук нужной Эдвиге казался шорохом крадущихся ног Адельстана.

И много раз Эдвига поспешала к дверям, чтобы ласково встретить и ободрить робко-медлящего отрока, – и каждый раз напрасно.

IV

Утомленная бессонною ночью, распаленная неисполненными желаниями, на другой день позвала Эдвигу в свои покои Адельстана, осыпала его жестокими упреками, била его по щекам, царапала и щипала его.

Покорно перетерпев её неистовство, хотя и пролив при этом немало слез, Адельстан сказал ей:

– Милостивая госпожа, я должен пребыть верен моему господину, ты же задумала гнусное и непотребное дело. Если мы сотворим по твоему мерзкому желанно, погибнем мы оба лютою смертью от руки палача, и проклятые демоны утащат наши души прямо в ад, в неугасающий огонь, в кипящую вечно смолу.

– Милый паж, – сказала графиня, – да разве за нас некому помолиться? И на то ли оставил тебя граф со мною, чтобы ты оказывал неповиновение госпоже? Вот, и сам ты, глупый мальчик, не насладился, и меня тяжкими в эту ночь измучил

муками, и еще устала я, нанося тебе заслуженные тобою удары. Не могу я больше выносить такие муки и труды, – приди ко мне в эту ночь, а если не придешь, то завтра я подвергну тебя жестоким истязаниям.

Ничего не ответил Адельстан.

Но и в эту ночь Эдвиги напрасно ожидала его.

V

На другое утро ходила она по замку усталая, злая, и ничто в роскошном замке не веселило её взоров. Вдруг услышала она где-то близко звуки лютни, нежный голос и смех, и быстро пошла, сверкая гневными взорами, туда, где раздавались звуки, веселость которых была столь несогласна с её тоскою, что причиняла её сердцу новые, горчащие муки.

На дворе собрались пажи; Адельстан пел им веселые, забавные песни, как будто уже он и забыл о мольбах и угрозах своей госпожи. Пажи слушали его, смеялись и хвалили песни и певца.

Еще сильнее разгоралась графинина страсть. Все раздражало ее: пленительные звуки его голоса, нежная красота его, и его стройные, нагие ноги: пажи не ждали, что госпожа придет к ним, и не успели обуться, – увлек их своим пением милый паж Адельстан. Эдвиги согнала со своего лица внешние признаки гнева, – знатные господа изощрились в искусстве скрывать свои чувства и затемнять зеркало своей души об-

манчивыми выражениями благосклонности, – подошла к пажам, и сказала:

– Плачу я и тоскую в разлуке с возлюбленным господином моим. Скучно мне, – чем я утешусь, когда господин мой далече? Смех ваш неприятен для меня, слезы ваши были бы мне милее.

Веселый, синеокий Генрих, младший из пажей, а потому и самый смелый в обращении с госпожой, отвечал Эдвиге:

– Милостивая госпожа, господин наш скоро вернется, плакать нам и тебе не о чем, ты лучше послушай вместе с нами, как складно да звонко поет Адельстан, и утешься.

– Нет, – отвечала Эдвига, – песни ваши мне скучны. Разве только песнями вашими должны вы служить графу и мне? До смеха ли только и до веселья ли на пиру простирается ваша верность?

– Милостивая госпожа, – сказал синеокий Генрих, – наша верность господину и тебе до последней капли крови, и до последнего нашего вздоха.

Засмеялась Эдвига, и сказала:

– Вот вы и утешьте меня пролитием вашей крови.

Острым своим кинжалом Эдвига несколько раз уколола выше колен обнаженные Адельстановы ноги, – и после каждого укола слизывала с острого и блестящего лезвия своим лукавым языком сладкие капли Адельстановой крови. И весело было графине Эдвиге смотреть на Адельстановы окровавленные ноги.

Но и в эту ночь не пришел Адельстан к Эдвиге, – а на утро возвратился домой старый граф.

VI

Изнывала графиня Эдвиге от страсти, и верность пажа удивляла ее тем более, что она видела, как Адельстан бросает на нее пламенные взоры, полные вожделения. Она замечала, что Адельстан, прислуживая за столом, старается прикоснуться до её нежной руки, или хотя до её платья. Прикосновения Адельстана были ей радостны, но и горьки, ибо еще сильнее распаляли её желания.

Шли недели и месяцы, не было детей у графини. Она тосковала, томилась, и уже словно увядала.

– Пресвятая Дева Мария, – молилась она, – какая моя жизнь! Старый муж ласкает меня, но ненавистны мне его ласки, а тот, кого я люблю, не смеет войти в радость госпожи своей.

Уже и граф заметил её томления, и уже ревность вошла в его сердце. Он заметил страстные взоры графини и пажа, которые скрещивались перед ним, как два кинжала в равном и медлительном бою.

Старый граф одинаково боялся и того, что Эдвиге согрешит с пажом, и того, что Адельстан забудет долг верности.

VII

Невдали от графского замка, в месте уединенном и диком, в овраге среди дремучего леса, стояла темная хижина, жильё старого чародея.

Злобились на чародея попы, и грозились сжечь его живою, – ибо нечестивое дело – чары делать и колдовать. Уже и посылали за ним не однажды воинов и стражей городских, взять его на суд, но темными волхвованиями отвращал чародей опасность, затемняя взоры ищущих, сбивая их с дороги, насылая на них бури и лесные нестерпимые страхи. Да и могущественному графу не угодно было, чтобы чародея до времени сожгли, – ибо поблизости еще не было другого, чары же всегда могли пригодиться. Но чародей, зная, что жизнь его рано или поздно все же пресечена будет огнем, усердно собирал деньги, и время от времени отдавал их своей дочери, которая была замужем за пивоваром, и жила в ближнем городе, не причастная наваждениям, в мире с церковью, которой приносила ежегодно немалые дары.

Однажды ночью графиня надела бедные и грубые одежды, закрыла свое лицо плащом, и пошла к чародею босая, чтобы смирением заслужить себе милость таинственной силы, а также и для того, чтобы вернее скрыть свое высокое звание. Но на поясе у неё висел тяжелый кошелек с золотом.

Веял бурный и холодный ветер прямо в лицо трепещущей

Эдвиге, яростно рвал её одежды, и затруднял её шаги. Потопки дождя стремительно низвергались с омраченного неба. С треском и грохотом падали порою поперек дороги громадные деревья, сокрушенные беснованием свирепой бури.

Вся измокшая, дрожащая от страха и холода, с ногами, исцарапанными, испачканными в мокрой глине, пришла молодая, прекрасная Эдвига в мрачное логовище чародея. Неприветливы были закоптелые от дыма волхвований стены хижины, и, наводя жуткий на Эдвигу страх, сверкали зеленые глаза громадного кота.

Старик, длинный, тощий, седобородый, с пронзительным взором, спросил Эдвигу:

– Для чего, милостивая госпожа, ты пришла в такую страшную и не для одной тебя ночь в это отверженное место, оставив гордый замок и теплое ложе, и не убоявшись бешенства разъяренной бури?

– Я не госпожа, – сказала Эдвига, – я простая женщина. Я принесла тебе мое тяжкое горе, чтобы ты своими проклятыми чарами обратил его в радость, за что я заплачу тебе так много, как только могу.

– Милостивая госпожа, – ответишь чародей, – ночь темна, буря воеет, – но давно сияли для меня следы твоих прелестных ног, и слышал я шорох твоих шагов уже от самых ворот старого замка. Ибо, хотя эта хижина бедна убранством, обитают в ней величия волшебства и неодолимые чары, и незримые вам, непосвященным в тайну, но усердные слуги

неустанно охраняют все пути к ней. Скажи мне, милостивая госпожа, чего ты от меня желаешь.

Засмеялась лукавая Эдвига, и сказала:

– Вижу я, что бесполезно мне от тебя скрываться, но, может быть, и желания мои ты сам знаешь, так что и говорить их не надо.

Страшная улыбка, похожая на то, как бы мертвец улыбнулся, искривила иссохшиеся чародеевы губы, и он сказал:

– Милостивая госпожа, не довольно хотеть; не любит моя наука немного очарования. Если хочешь, скажи, чего хочешь, – если не хочешь, иди с миром, я же могу тебе дать только то, чего ты попросишь у меня словами, ибо иначе я мог бы дать тебе слишком много. Темны и многочисленны желания человеческие, самому человеку они не ведомы все, – мои же слуги видят глубоко, в самых тайных изгибах души, и, не оградись только от их усердия пределами слов, они задушат чрезмерностью исполнения.

Тогда повидала ему трепещущая от стыда и страха Эдвига свое горе и свои желания, отдала ему свое золото, и, падши к его ногам, с громкими рыданиями молила его о помощи.

Чародей выслушал ее до конца, взвесил на руке её тяжелый и многоценный дар, и сказал:

– Могучие духи заключены в этом мешке, и, если бы ты умела им повелевать, не пришла бы ты ко мне. Но встань, – все будет, как ты хочешь, – имей терпение, я это сделаю. Иди с миром.

VIII

В ту же ночь, немного позже, и граф постучался в двери чародеевой хижины. Низким поклоном приветствовал его чародей. Граф сказал ему:

– Становлюсь я стар, еще наследника у меня нет, и хотя уже больше года живет у меня молодая жена, но она все еще ходит праздная. И другое мое горе, – возлюбленная жена моя с вожделением смотрит на моего милого пажу, и он на неё так же. Еще не было между ними греха, но боюсь, что будет.

Выслушал его чародей, и сказал:

– Милостивый господин, все будет, как вы хотите, если вы поступите по слову моему. Она – ваша супруга, но и он – ваш слуга. И не должен ли он служить вам душою, и телом, и всею крепостью сил своих?

И затем долго говорил чародей со старым графом, и необычайные наставления дал ему, – и радостен вышел граф из хижины, и весел вернулся домой верхом на своем верном коне.

IX

На заре призвал граф к себе Эдвигу и Адельстана, и велел пажу затворить крепко двери. Адельстан, исполнив повеле-

ние господина, стал перед ним, и сказал смело:

– Милостивый граф, если хотите, судите меня, – я был вам верен.

Эдвига трепетала, и, бледная, молчала.

Старый граф сказал им:

– Не бойтесь. Мне и роду моему вы оба послужите, как умеете. Сегодня ночью, когда выла буря, наводя ужас и на храбрых, слышал я вещи и мудрые слова; вы же сделаете мудрое и славное дело, во исполнение вещих сказаний...

Красотою подобная рожденной из морской пены богине, хотя и багроволицая от стыда, стояла перед своим господином Эдвига. Молча смотрел на нее граф, и радостью обладания трепетало его сердце. Адельстан же не смел поднять на графиню взора, но не мог и отвести в сторону глаз...

Омраченные и стыдящиеся, вышли Эдвига и Адельстан от графа, но радость любви все же ликовала в их сердцах.

Сначала оба они были счастливы. Но скоро и Эдвигу и Адельстана утомили ласки по чужой воле, ибо любви ненавистно всякое принуждение, – и утомили даже до взаимной ненависти. И оба они стали помышлять о том, как бы избавиться им от сладких, но тягостных оков любви, повелеваемой господином.

«Убью графиню!» – думал Адельстан.

«Убью пажу!» – думала Эдвига.

И однажды, когда она одевалась, а он по её зову подошел к ней и склонился к её ногам, чтобы обуть ее, она вонзила ему

в сердце узкий и острый кинжал. Адельстан упал, захрипел, и тут же умер.

Тело его вынесли, по графскому повелению повесили голое во рву замка, и рядом с ним повесили собаку, чтобы думали вассалы, что смертно наказан паж Адельстан за некий дерзновенный поступок.

Графиня же понесла. И скоро родила сына, наследника славного и могущественного графского рода.

Чудо отрока Лина

Исполнив с большим успехом повеление усмирить непокорных жителей мятежного селения, отказавшегося принести жертвы и совершать благочестивые поклонения перед изображением божественного императора, отряд всадников возвращался в свой лагерь. Много пролито было крови, много истреблено нечестивцев, и утомленные всадники с нетерпением ждали наступления того отрадного часа, когда они вернутся в свои палатки и без помехи насладятся прекрасными телами взятых ими в мятежном селении жен и дочерей нечестивых безумцев. Эти женщины и девы, уже вкусившие сладостное, но утомительное насилие поспешных всаднических ласк у околицы разрушенного и сожженного селения, возле изуродованных трупов их отцов и мужей, возле измученных тел их матерей, окровавленных ударами палок и бичей, эти женщины и девы, тем более желанные солдатам, чем непокорнее были они сами и чем вынужденнее были их объятия, лежали теперь, крепко связанные, в тяжелых телегах, которые увлекались сильными лошадьми по большой дороге прямо к лагерю. Сами же всадники избрали путь окольный, ибо до сведения старшего центуриона дошло, что некоторые из мятежников успели скрыться и бежали по этому направлению. И хотя уже покрыты кровью и иззубрены были мечи и притупились копыта от удалой работы ревностных к славе

и достоинству императора воинов, — но меч римского легионера никогда не бывает сыт телами поверженных врагов и вечно жаждет новой и новой горячей крови человеческой.

Был знойный день, и самый жаркий час дня, вскоре после полудня. Небо сверкало безоблачное и беспощадно яркое. Огненно-мглистый небесный Дракон, дрожа от всемирной безумной ярости, изливал из пламенной пасти на безмолвную и унылую равнину потоки знойного гнева. Иссохшая трава приникла к жаждущей и ждущей тщетно влаги земле, и тосковала вместе с нею, и томилась, и никла, и задыхалась от пыли. Из-под лошадиных копыт вздымалась и еле движимым облаком в недвижимом воздухе стояла и колыхалась серая пыль. И пыль садилась на доспехи утомленных всадников, и они тускло и багрово мерцали. И сквозь облако серой, неподвижной пыли все окрест являлось взорам утомленных всадников зловещим, мрачным, печальным. Сжигаемая яростным Драконом, покорная, бессильная, лежала земля под тяжелыми копытами, окованными железом. Под тяжелыми, железно-окованными копытами гудела, дрожала пустынная, пыльная дорога. И только изредка встречались бедные селения с жалкими лачугами, — но, томимый тяжелым зноем, забыл старший центурион свое намерение обшарить всю дорогу, и, мерно качаясь на седле, угрюмо думал о том, что кончится когда-нибудь этот зной, и долгий путь идет к концу, и уведут боевого коня, и возьмут шлем и щит, и под широким полотном походной палатки будет прохлада и ти-

хий свет ночной лампы, и опять заплачет нагая рабыня, и заплачет свирельным голосом, жалуясь и причитая на чужом и смешном языке, и заплачет, но будет целовать. И он ее заласкает, заласкает до смерти, – чтобы не плакала, не причитала, не жаловалась, не говорила свирельным голосом об убитых, о милых ей, о поверженных врагах великого Цезаря...

Юный воин сказал центуриону:

– Вон там, направо, близ дороги, я вижу толпу. Прикажи нам, Марцелл, и мы помчимся на этих людей, и разгоним их, и быстрым движением коней наших разбудим усыпленный тяжким зноем ветер, и он ответит пыльную истому от тебя и от нас.

Центурион внимательно посмотрел в ту сторону, куда указывал ему юный воин. Зорки были глаза старого центуриона.

– Нет, Люцилий, – сказал он, улыбаясь, – эта толпа – толпа детей, которые играют при дороге. Не стоит разгонять их. Пусть мальчишки смотрят на могучих коней наших и на отважных всадников и с ранних лет запечатлевают в сердцах своих преклонение перед величием римского войска и перед славою нашего непобедимого и божественного Цезаря.

Юный всадник не смел возражать центуриону. Но омрачилось лицо его. Недовольный, отъехал он к своему месту и тихо сказал своему другу, такому же, как он сам, юноше:

– Эти дети, может быть, отродье мятежной сволочи, и я бы с радостью искрошил их в куски. Наш центурион от ста-

рости стал слишком чувствителен и утратил свойственную доблестному воину суровую решимость. Но и друг его ответил ему с приметным неудовольствием:

– Зачем же нам сражаться с детьми? Какая в этом слава? Довольно с нас битв с теми, которые могут защищать себя.

И краснея в досаде, замолк юный и запальчивый воин.

Всадники приближались к играющим детям. И остановились дети при дороге, и смотрели на воинов, дивясь их могучим коням, их блистающим доспехам и их мужественным, загорелым лицам.

Дивились, шептались, глядели широко раскрытыми глазами.

И только один из детей, прекрасный отрок Лин смотрел на воинов сумрачно, и черные глаза его сверкали огнем святого гнева. И когда отряд всадников поравнялся с детьми, отрок Лин воскликнул:

– Убийцы!

И, угрожая, поднял и протянул руки к центуриону. И сумрачно глянул на него старый центурион, не расслышал, что кричит мальчишка, и проехал мимо.

Испуганные дети окружили Лина, и запрещали ему кричать, и шептали:

– Бежим, бежим скорее, а то они всех нас убьют.

И девочки уже плакали. Но прекрасный отрок Лин безбоязненно ступил вперед и громко крикнул:

– Палачи! Мучители невинных!

И снова, угрожая, поднялась сжатая в кулак маленькая, бессильная рука отрока Лина. И сверкая гневными, черными очами, весь дрожа, задыхаясь от гнева, Лин кричал все громче и громче:

– Палачи! Палачи! Чем смоете вы с рук ваших кровь убитых вами!

Девочки подняли вопль, заглушая крики отрока Лина, и мальчики схватили его за руки и повлекли прочь от дороги. Но Лин вырвался из их рук, сжигаемый святым гневом, и выкрикивал проклятия воинам великого императора.

Всадники остановились. Юнейшие из них громко восклицали:

– Это – отродье крамольников! Мятежным духом заражены их сердца! Надо их истребить! Нет места под небом тому, кто осмелился оскорбить римского воина!

И старые воины говорили центуриону:

– Дерзость этих негодяев достойна жестокого наказания. Марцелл, прикажи нам догнать и истребить их всех. Надо истребить крамольное племя прежде, чем они вырастут и будут в силах восстать и причинить великий вред божественному Цезарю и миродержавному Риму.

И центурион сказал:

– Догоните их, убейте тех, кто кричал, а остальных накажите так, чтобы они помнили до конца своих дней, что значит оскорбить римского воина.

И все всадники, свернув с пыльной дороги, помчались

вслед за убегающими детьми.

Видя погоню, отрок Лин крикнул товарищам своим:

– Оставьте меня! Меня вы не спасете, а если будете бежать, то все погибнете под мечами этого нечестивого и безжалостного воинства. Я пойду к ним навстречу, и пусть они убьют меня одного, – я и не хочу жить в этом презренном мире, где совершаются такие жестокие дела.

И остановился Лин, и не могли увлечь его далее обессиленные от бега и от испуга товарищи его. И стояли они, и громко плакали, меж тем как всадники быстро окружили их тесным кольцом.

Засверкали на солнце вынутые из ножен мечи, и зыбкие улыбки Дракона побежали, безжалостные, злые, по стальным клинкам. И задрожали дети, и с громким плачем, прижимаясь друг к другу, сбились в тесную кучу. И Дракон, торопящийся к убийству, распалюющий жаркую солдатскую кровь, багровым дымом ярости застилающий воспаленные глаза воинов, уже радовался, уже готов был беспощадными лучами змеиных своих очей облобызать невинную детскую кровь и гнойным зноем небесной злобы залить изрубленные жестокими и широкими мечами беззащитные тела. Но смело выступил из толпы отрок Лин и подошел к центуриону. И сказал громко:

– Старик, это я назвал тебя и твоих воинов убийцами и палачами, это я проклинал тебя и всех, кто с тобою, это я призывал гнев праведного божества на ваши нечестивые го-

ловы. Смотри, вот они эти дети, плачут и дрожат от страха. Они боятся, что проклятые воины твои по твоему безбожному повелению убьют всех нас, и убьют нас и отцов и матерей наших. Убей одного меня, – ибо эти покорны тебе и поплававшему тебя. Убей только меня, если ты не насытился еще убийствами. Я же не боюсь тебя, я ненавижу твою ярость, я презираю твой меч и твою неправую власть, я не хочу жить на той земле, которую топчут кони твоего неистового воинства. Еще руки мои слабы, и я еще так мал ростом, что не достану до твоего горла, чтобы задушить тебя, – убей же меня, убей меня скорее. И с великим удивлением слушал его центурион. И сказал:

– Змееныш, не будет по-твоему, ты умрешь не один. И приказал своим воинам:

– Убивайте их всех. Нельзя оставить в живых это змеиное отродье, потому что слова дерзкого мальчишки запали в их мятежные души. Убивайте их всех без пощады, больших и малых, и даже едва только научившихся лепетать.

И бросились воины на детей, и рубили их беспощадными мечами. Содрогнулась от детского вопля угрюмая долина и пыльная дорога, – и ответным застонали стоном мгlistые дали, – свирельно-нежным эхом застонали и замолкли. И раздувая горячие ноздри, нюхали кони дымную кровь и железно-окованными копытами медленно и тяжело топтали детские трупы.

И потом воины вернулись на дорогу, смеясь радостно и

жестоко. Торопились к своему лагерю. Весело разговаривали и радовались.

Но длился, длился пыльный тяжкий путь в тоскующей под гневными пламенными очами Дракона долине. И багровый стал склоняться Дракон, но не было окрест прохлады и, замороженный тишиною и страхом, спал ветер. И багровый лик знойного Дракона, склоняясь, глядел в зоркие очи старого центуриона, – улыбался небесный Змей тихою и страшною улыбкою.

И оттого, что было тихо, и знойно, и багряно, и был тяжело ровен шаг мерно-звонких коней, стало тоскливо и страшно старому центуриону. И такая мерная, и такая звонкая была тяжкая конская поступь, и такая тонкая и такая серая была недвижная, безнадежная пыль, и казалось, что не будет конца истоме и страху пустынного пути. И гулким отзвучным гудением на каждый шаг усталого коня откликалась пустынная даль.

И гулкие стоны рождались в пустынной дали.

Гудела земля под копытами.

Кто-то бежал. Догонял.

И голос, подобный голосу убитого отрока, кричал что-то.

Центурион оглянулся на своих воинов. Покрытые пылью лица всадников были искажены не только усталостью. Смутный страх изображался в грубых чертах загорелых солдатских лиц. Сухие губы юного Люцилия двигались, шепча тревожно:

– Поскорей бы добраться до лагеря!

И взглянул пристально старый центурион в усталое лицо Люцилия, и тихо спросил молодого воина:

– Что с тобою, Люцилий?

И так же тихо ответил ему Люций:

– Страшно мне.

И, стыдясь своего страха и своей слабости, сказал погромче:

– Жарко очень.

И опять, не одолев страха, зашептал тихо:

– Проклятый мальчишка гонится за нами. Заколдован он нечистыми чарами ночных колдуний, и не сумели мы зарубить его так, чтобы он не встал.

Центурион внимательно осмотрел окрестность. Ни близко, ни далеко никого не было. И сказал центурион юному Люцилию:

– Разве ты потерял амулет, данный тебе старым жрецом заморского бога? Говорят, что у кого есть такой амулет, против того бессильны чары полуночных и полуденных колдуний.

Люцилий ответил, дрожа от страха:

– Амулет на мне, но он жжет мою грудь. Подземные боги приблизились к нам, и я слышу их темный ропот.

Тяжким гулом стонала долина. Старый центурион, благочестивою речью думая победить свой страх, сказал Люцилию:

– Подземные боги благодарят нас, – мы сегодня довольно для них поработали. Темен и невнятен их голос, и страшен он в знойном молчании пустыни, но не в преодолении ли страха честь доблестного воина?

Но опять сказал юный Люцилий:

– Страшно мне. Я слышу голос настигающего нас отрока. И в знойном безмолвии долины свирельно-звонкий голос возгласил:

– Проклятие, проклятие убийцам!

Дрогнули воины, и быстро помчались кони. И неведомый голос звучал так близко, так ясно:

– Убийцы! Убийцы невинных! Вам нет прощения, нет пощады!

И быстро мчались погоняемые всадниками кони. Но гнев зажег сердце старого центуриона. И он крикнул, задерживая бег испуганного коня и обращаясь к всадникам:

– Или мы не воины великого и божественного императора? От кого мы бежим? Проклятый мальчишка, не добытый нами или оживленный нечистыми чарами злых колдунов, собирающих кровь в чашу для ночных волхований, продолжает возносить хулы против непобедимого воинства. Но оружию римскому принадлежит превозмочь не только вражью силу, но и темные вражьи чары.

И устыдились воины. Остановили коней. Прислушались. Догонял их кто-то, возглашающий и вопиющий, и в мглстой тишине мрачно вечереющей долины явственно слы-

шался детский крик:

– Убийцы!

Всадники повернули коней в ту сторону, откуда Доносились к ним крики. И увидели они отрока Лина, бегущего к ним в окровавленной и изорванной одежде. И кровь струилась по его лицу и по его рукам, поднятым к воинам в угрожающем движении, как будто бы отрок хотел схватить каждого из них и повергнуть к своим окровавленным, запыленным стопам. И дикою злобою наполнились сердца воинов. Обнажив мечи, разъярив коней быстрыми уколами заостренных стремени, они ринулись стремительно на отрока, и рубили его мечами, и топтали, и насытили над его прахом ярость свою, и потом соскочили с коней, и на куски изорвали тело отрока, и разметали его по дороге и окрест.

Отерев мечи придорожною травой, они сели на коней и помчались дальше, спеша к лагерю. Но снова тяжкий стон огласил мрачную, в лучах склоняющегося Дракона, долину, – и снова рыдающий свирельный голос вознес те же беспощадные слова. И повторялся в ушах убийц звонкий вопль:

– Убийцы!

Тогда, томимые ужасом и злобою, они опять повернули коней, и опять бежал к ним отрок Лин в окровавленной одежде и простирал к ним свои залитые кровью, угрожающие руки. И снова они изрубили его, затоптали и разрезали мечами его тело, и разбросали, и помчались.

Но опять и опять настигал их отрок Лин. И уже они за-

были, в какой стороне их лагерь, и в ярости бесконечного убийства, среди воплей несмолкаемого укора, они метались по долине и кружили около того места, где убиты были отрок Лин и другие дети. И весь остаток дня багрово пламенеющий и дымно издыхающий Дракон смотрел ярым, беспощадным взором на страшное томление вечного убийства и нескончаемого укора.

И вечер отгорел, и была ночь, и звезды мерцали, непорочные, невинные, далекие, – и метались воины, и нескончаемым воплем томил их отрок Лин. И метались воины, и убивали, и не могли убить.

Пред восходом солнца, гонимые ужасом и преследуемые вечными стопами отрока Лина, примчались они к морскому берегу. И вспенились волны под бешеным бегом коней.

Так погибли все всадники и с ними центурион Марцелл.

А там на далеком поле, у дороги, где убиты были всадниками отрок Лин и другие дети, лежали тела их, окровавленные и непогребенные. Ночью, трусливо и осторожно, пришли к поверженным телам волки и насытились невинными и сладкими телами детей.

Смерть по объявлению

Резанов чувствовал себя таким слабым, усталым, увядающим. К вечному успокоению все чаще клонились мысли. Казалось, что слаще нет отдыха, как на дощатом ложе, в сосновой домовине.

И захотелось вдруг развлечения не по установленной программе.

Сидел в своей тихой комнате один.

Читал объявления в «Новом времени» очень внимательно. Искал чего-то. Сравнивал и выбирал.

Его бледное, начинающее увядать лицо являло признаки смущения и нерешительности. В задумчивости взял карандаш. Поставил его острием на абажур лампы.

Дрожала рука. Стучало острие карандаша. Усмехнулся. Подумал:

«Старею».

Опять опустил глаза, – когда-то вечно-веселые, теперь устало-равнодушные, – на газетные листы склонил внимательные и спокойные взоры.

Наконец выбрал одно объявление.

Какая-то интеллигентная молодая дама, красивая и воспитанная, находясь в крайней нужде, просила добрых людей одолжить ей пятьдесят рублей; согласна была на все условия. Просила писать в семнадцатое почтовое отделение до вос-

требования, предъявительнице квитанции за № 205824.

Резанов вынул из коробки лист желтоватой, шероховатой бумаги с неровными краями, с водяными знаками Margarett Mill.

Усмехаясь невесело, писал:

«Милостивая Государыня,

Я дам Вам деньги, которых Вы просите, но не в долг и не даром, а за работу, о которой сейчас Вам напишу. Напишу по необходимости вкратце, – в письме многого не скажешь. Но так как, по Вашим словам, Вы – дама интеллигентная, то Вы, может быть, поймете, что именно от Вас потребуется. Вы должны явиться мне в образе моей смерти, – чем более привлекательной, тем лучше, – и сообразно с этим вести себя. Если Вы сумеете разнообразить достаточно эту веселую игру, то Ваш заработок может быть и впредь достаточен для Вашего пропитания. Согласны ли Вы? Не страшно ли Вам? Понимаете ли Вы, что от Вас требуется? Если согласны и не боитесь, и понимаете, то напишите, когда и где я могу Вас в первый раз встретить. Для меня самое удобное время – после пяти вечера. Пишите в Главный почтамт предъявителю трех рублей № 384384. Письмо возьму в четверг».

Трехрублевка, новенькая, пошловато-красивого образца 1905 года, хрустела неприятно, как накрахмаленное платье полоротой причастницы. Цифры 384 повторялись дважды. Совпадение казалось странным и знаменательным.

Подумал:

«А если?»

Бледно улыбнулся.

«Ну и пусть».

Не подписал. Запечатал. Сам отнес и бросил в почтовый ящик, – чтобы не забыли до утра, чтобы дошло скорее.

Потом вернулся и думал, какая она придет.

Тощая, уродливая, с побуревшим от бедности и страданий лицом, с желтыми зубами, с жидкими рыжеватыми космами волос под истасканною на дожде и ветре шляпою, где жалко и смешно трепыхаются перо и бант?

Или молоденькая, застенчивая, тихая, с тонкими пальцами швеи, исколотыми иглой, с бледным, точно восковым личиком, с большим, милым ртом?

Или пьяною придет проституткой, накрашенная, разбитная, с визгливым голосом и грубыми ухватками?

Или провинциальная вульгарная дама в невероятном костюме, с невозможными манерами, с невытою шеей, – брошенная мужем и еще никуда не пристроившаяся?

Какая же она будет, смерть? Моя смерть!

Или в темном встретит переходе, и не увижу ее, и только в холодную опущу руку мое бедное золото?

В четверг пошел в Почтамт. Летний день в столице был пылен, жарок и шумен. Там и здесь чинили мостовые, красили дома, – и так неприятно пахло. И все же было весело, привычно, и вывески знакомых ресторанов глядели празд-

нично-нарядно.

Не торопился. Пил пиво у Лейнера. Никого не встретил знакомых. Да и кого теперь встретить? Разве случайно.

Было близко время к четырем, когда прошел сквозь узкие отворенные двери в новый, под стеклянную крышею, зал Почтамта. Вспомнил старый, заплыванный закоулок, где прежде выдавали письма до востребования. Теперь и чиновники заботятся о миловидности.

Остановился у будочки с бумагою и конвертами. Вертящаяся витрина показала ему все виды приторной пошлости на открытках, как на подбор.

– Покупают? – спросил он продавщицу.

Смазливая девица со скучающим лицом обидчиво дернулась жирными плечами.

– Вам что угодно? – спросила она враждебным тоном. – Конверты, бумага, открытые письма.

Взглянул на нее пристально. Заметил кудерьки на лбу, фарфоровый цвет лица, синие зрачки. Сказал:

– Да ничего не надо.

И прошел дальше.

Прямо против входа за средним двойным окном большой квадратной загородки сидели три девицы, разбиравшие письма. Снаружи стояли получатели. Толстая дама с бородавкой на носу спрашивала письмо на имя Руслан-Звонаревой.

– Ваша фамилия Звонарева? – спросила почтовая барыш-

ня с лицом цвета пшеничной булки и отошла вглубь к шкафу с письмами.

– Руслан-Звонарева, – испуганным полупшепотом говорила ей вслед дама с бородавкой.

И когда почтовая пшеничная девица вернулась с пачкою писем к окошку, дама с бородавкой повторила:

– У меня двойная фамилия, Руслан-Звонарева.

Рядом с нею стоял рыжий господин с котелком в руке и беспокойными глазами смотрел на письма, которые перебирала вторая почтовая девица, самая красивая из трех и очень гордая этим. Господин, по всем признакам, ждал письма «чувствительного и фривольного», и волновался, и был некрасив и жалок.

Третья девица, пухлая, румяная, с лицом широким и коротким, с опущенною на лоб широкою занавескою густых каштанового цвета волос, смеялась чему-то своему. Все обращалась к двум другим, – и те улыбались, – и смеялась, и говорила какие-то отрывочные слова о чем-то забавном.

Резанов молча протянул ей свою трехрублевку. Смотрел на девиц. Думал, что они молоды, здоровы, милостивы. Так их подобрало почтовое начальство, заботящееся о приличном виде своих учреждений.

Вспомнил недавнюю газетную полемику между почт-директором и какою-то просительницею, которая не получила места на почте потому, что была тощая, некрасивая, вялая от робости и бедности и недоедания, и старая – целых трид-

цать два года.

Закрыв глаза, – встало чье-то бледное, испитое, испуганное лицо с широко открытыми глазами, с дергающимися нервно и робко губами. Кто-то шепнул, так ясно и тихо:

– Нечем жить.

Кто-то ответил, тихо и спокойно:

– Не живи.

Резанов открыл глаза. Ненавидящим взором смотрел на пухлолицую девицу, которая искала письмо на его номер, выкидывая из пачки на стол одно за другим открытки и закрытые письма. И все смеялась. Так противно, надоедливо.

Наконец протянула письмо в узком штемпельном конверте. Перебросила остальные письма.

– Больше нет.

– И не надо, – досадливо сказал Резанов.

Отошел в сторону, сел на скамью у колонны.

Разорвал конверт. Торопился, но был спокоен.

Крупные и узкие буквы, тонкие черты, ровный и спокойный почерк, неожиданно-красивый.

«Милостивый Государь,

Я согласна. Я не боюсь. Я понимаю. Четверг, шестой час. Михайловский сад, аллея направо от входа. Белое платье. В правой руке Ваше письмо в конверте.

Ваша Смерть».

Сторож звонил. Зал пустел. Резанов поехал в «Вену». Победал. Пил вино. Торопился.

Приехал в сад в половине шестого.

Она стояла недалеко от входа, на краю аллеи, под деревом. Ее платье белело на темной зелени тихого сада.

Тонкая, бледная, очень тихая и спокойная. Внимательно смотрела на него, когда он подходил к ней. Глаза серые, спокойные. Ничего не выдавали. Только внимательные. В лице, совсем некрасивом, выражение ясности и покорности. Губы большого рта улыбались мило и печально.

– Милая смерть, – сказал он тихо.

Стал перед нею. Странно волнуясь, протянул ей руку.

Она молчала. Переложила его письмо в левую руку. Пожала его руку тонкою, холодною, тихою рукою.

Он спросил ее:

– Ты долго ждала меня?

Она ответила, медленно произнося слово за словом, голосом ясным, безжизненно ровным, смертельно спокойным:

– Ты меня не ждал. Ты думал, что встретишь не меня.

И казалось, что холодом повеяло от нее. И так тихи, так недвижны были складки ее белого платья. Ее простая соломенная шляпа с белой лентою, надетая высоко, кидала желтую тень на ее покойное лицо. И, стоя перед Резановым, она слегка склонилась и провела концом своего легкого зонтика тонкую черту на песке, слева направо, между ним и ею.

Спросил:

– Это – правда, что ты согласна быть моею смертью?

И такой же был тихий ответ:

– Я – твоя смерть.

Спросил опять, чувствуя холод в теле:

– Разве ты не боишься исполнять такую мрачную роль?

Сказала:

– Смерть боится живых и не показывается им так прямо.

Ты, может быть, первый, кто увидел мое лицо, земное, человеческое лицо твоей смерти.

Сказал:

– Ты ведешь свою роль очень быстро и слишком добросовестно. Скажи мне, как тебя зовут?

Улыбнулась печально и кротно. Сказала:

– Я – твоя смерть, белая, тихая, безмятежная. Торопись дышать земным воздухом, – часы твои сочтены.

Нахмурился. Сказал:

– Ты – интеллигентная дама, ты находишься в затруднительном положении и просишь денег. Что довело тебя до такой крайности, что ты согласна на все условия? И даже на то, чтобы играть в такую страшную игру.

Ответила:

– Я голодна, больна, устала и печальна.

Засмеялся. Сказал:

– Прежде всего отдохни. Что ты стоишь? Сядь на скамейку.

Прошли несколько шагов. Сели. Она чертила на песке запутанный узор.

Сказал:

– Ты голодна, – мы поедим, – хочешь? – куда-нибудь, и я накормлю тебя. Я дам тебе денег, сколько ты просила. Скажи, не надо ли тебе еще что-нибудь от меня?

Сказала:

– Я возьму от тебя все, что ты можешь дать, – твое золото и твою душу.

Он вздрогнул. Засмеялся. Сказал:

– Ты хорошо играешь свою роль.

Ответила:

– Я пришла. Мой час настанет скоро. Я жду.

Он вынул кошелек.

В среднем маленьком отделении за стальной застёжкой лежали заранее приготовленные пять золотых монет. Вынул их.

Она протянула молча свою узкую бледную руку, – такую тихую и спокойную, – открытую ладонью вверх. Легкие линии чертили ясный и простой узор на ее белой, недвижно-раскрытой ладони.

Пять золотых монет, тихо звякнув звучным звоном одна о другую, легли на холодную, недрогнувшую ладонь. Неспешно сомкнулась рука, тонкие пальцы, длинные, белые, сжались, – и неторопливо опустилась рука с деньгами в скрытый сбоку прорез белой юбки. И он думал:

– Мое бедное золото, – мой последний дар, – скудный заработок поденщика, – малая плата за безмерный труд, – тебе, моя милая.

Думал ли только? сказал ли вслух? Так ясно звучали эти слова! Такою печалью стеснилась грудь!

И грустная, смотрела на него она сбоку серыми внимательными глазами и улыбалась. Потом склонилась, и тихо шурил на песке конец ее зонтика.

И шептала:

– Взяла твое золото – возьму твою душу. Отдал мне золото – отдашь мне душу.

Сказал он тихо:

– Взяла мое золото, потому что я дал тебе его. Но как возьмешь ты мою душу? И где ты ее возьмешь?

И сказала она:

– Приду к тебе в мой час и возьму твою душу. И отдашь мне ты свою душу. Отдашь, потому что я – твоя смерть, и ты не уйдешь от меня никуда.

Тоска томила его. Он сказал резким голосом, побеждая тоску и страх:

– Ты живешь в комнате от хозяев, ты ищешь места или работы, тебя зовут Марьей или Анной. Как тебя зовут?

И крикнул с дикою злобою:

– Скажи, как тебя зовут!

Повторила бесстрастно:

– Я – твоя смерть.

Такие безнадежные и беспощадные упали слова. Дрогнул. Поник. Спросил упавшим голосом:

– Тебе нужно мое золото, – потому что ты голодная и уста-

лая, – но душа моя, зачем тебе душа моя?

Ответила:

– На твое золото я куплю хлеба и вина, и буду есть и пить, и накормлю моих голодных смертенных. А потом душу твою выну и возьму ее бережно, положу ее себе на плечи и опущусь с нею в темный чертог, где обитает невидимый мой и твой владыка, и отдам ему твою душу. И сок твоей души выжмет он в глубокую чашу, куда и мои канут тихие слезы, – и соком твоей души, смешанным с тихими моими слезами, на полночные брызнет он звезды.

Тихо, неспешно, слово за словом, звучала странная речь, как формула темного заклятия.

И кто шел мимо, и какие звучали окрест голоса, и какие проносились, гремя по внешней мостовой, за оградой экипажи, и был ли быстрый легконогий бег и детский смех и лепет, – все скрыто было за магическою пеленою медлительной речи. И как за тающим дымом ладана таился, затаился звучащий, пестрый, весело вечеряющий день.

И была тоска, и усталость, и равнодушие. Тихо сказал:

– Если и до звезд вознесется трепет моей души и в далеких мирах зажжет неутоляемую жажду и восторг бытия, – мне-то что? Истлевая, истлею здесь, в страшной могиле, куда меня зароят зачем-то равнодушные люди. Что же мне в красноречии твоих обещаний, что мне? что мне? скажи.

Сказала, улыбаясь кротко:

– Во блаженном успении вечный покой.

Повторил тихо:

– Вечный покой. И это – утешение?

– Утешаю, чем могу, – сказала она, улыбаясь все тою же неподвижною, кроткою улыбкою.

Тогда он встал и пошел к выходу из сада. За собою слышал он ее легкие шаги.

Долго шел он по городским улицам, – и она шла за ним. Иногда он ускорял шаги, чтобы уйти от нее, – и она шла скорее, торопилась, бежала, приподнимая тонкими пальцами край белого платья. Когда он останавливался, она стояла поодаль, рассматривая выставленные в магазинных окнах предметы. Иногда он досадливо оборачивался и шел прямо на нее, – тогда она торопливо перебежала на другую сторону улицы или пряталась в подъездах или под воротами.

И следила за ним серыми, спокойными, внимательными глазами. Неотступно следила.

«Сяду на извозчика», – подумал он.

Удивился, почему такая простая мысль раньше не пришла ему в голову.

Но едва он заговорил с извозчиком, она приблизилась. Стояла совсем близко и веяла на него холодом и печалью. И улыбалась.

Подумал досадливо:

«Она сядет со мною. От нее не уйти, не уехать».

Извозчик спрашивал шесть гривен.

– Тридцать копеек, – сказал Резанов и быстро пошел

прочь.

Извозчик ругался.

Резанов поднялся в третий этаж. Остановился у дверей своей квартиры. Позвонил. Все время слышал шорох тихих, поднимающихся по лестнице шагов. Второй раз позвонил нетерпеливо. Холод страха пробежал по спине. Хотелось войти в квартиру раньше, чем она поднимется, раньше, чем она увидит, в какую он вошел дверь, – на площадке было четыре двери.

Но уже она поднималась. Уже близко, в полусвете лестницы, забелелось ее платье. И ее серые глаза внимательно и близко смотрели в его испуганные глаза, когда он, входя в квартиру, последний раз глянул на лестницу, поспешно закрывая за собою дверь.

Сам замкнул дверь на ключ. Так резко звякнул замок. Потом остановился в полутемной передней. Смотрел на дверь тоскующими глазами. Чувствовал, – точно видел сквозь опрозрачившуюся вдруг дверь, – как она стоит за дверью, тихая, с кроткою улыбкою на милых губах, и поднимает ясное, бледное лицо, чтобы прочесть и запомнить номер квартиры.

Потом тихие послышались шаги вниз по лестнице.

Резанов вошел в свой кабинет.

– Она ушла, – словно сказал кто-то ясным голосом.

И другой словно послышался в ответ ему голос, безнадежно-спокойный:

– Она придет.

Он ждал. Все темнее становилось. Томила тоска. Мысли были неясны и спутаны. Голова кружилась. По телу пробежал озноб и жар.

Думал:

«Что она делает? Купила еды, пришла домой, голодных своих смертеншей кормит. Так и назвала их – смертенши. Сколько их? Какие они? Такие же тихонькие, как и она, моя милая смерть? Исхудалые от недоедания, беленькие, боязливые. И некрасивые, и с такими же внимательными глазами, такие же милые, как она, моя милая, моя белая смерть.

Кормит своих смертеншей. Потом спать уложит. Потом сюда придет. Зачем?»

И вдруг любопытство зажглось в нем.

Придет, конечно. Иначе зачем проследила его до дому. Но зачем придет? Как она понимает свою задачу, эта странная дама, готовая за деньги на все условия, и даже на то, чтобы по смертям ходить?

А может быть, она и не женщина, а настоящая смерть? И придет, и вынет его душу из этого грешного и слабого тела?

Лег на диван. Укрылся пледом. Весь сотрясаясь в приступах жестокой и сладкой лихорадки.

Какие странные приходят в голову мысли! Она – умная и добросовестная. Взяла деньги, и хочет их заработать, и хорошо играет подказанную ей роль.

Отчего же она такая холодная?

Да оттого, что она – бедная, голодная, усталая, больная.
Устала от работы. Так много ей работы.

«Я косила целый день.

Я устала. Я больна».

Ходит, ищет, голодная, больная. Бедные смертеныши
ждут, голодные ртишки разевают.

И вспомнил ее лицо, – земное, человеческое лицо моей
смерти.

Такое знакомое лицо. Родные черты.

В памяти, черта за чертою, все яснее вставало ее лицо, –
знакомые, родные, милые черты.

Кто же она, моя белая смерть? Не сестра ли моя?

«Тяжело мне, – я больна.

Помоги мне, милый брат».

И если она – моя вечная Сестра, моя белая смерть, – то что
мне до того, что она здесь, в этом воплощении, пришла ко
мне в образе ищущей по объявлениям, живущей в комнате
от хозяев!

Я вложил в ее руку мое бедное золото, мой скудный дар, –
звонкое золото, в холодеющую руку. И взяла мое золото
остывающею рукою, и возьмет мою душу. Снесет меня под
темные своды, – и откроется лик Владыки, – Мой вечный
лик, и Владыка – Я. Я воззвал мою душу к жизни, и смерти
моей велел идти ко мне, идти за мною.

И ждал.

Была ночь. Тихо звякнул колокольчик. Никто не слышал.

Резанов поспешно откинул плед. Прошел в переднюю, стараясь не шуметь.

Так резко зазвенел замок. Дверь открылась, – на пороге стояла она.

Он ступил назад, в темноту передней. Спросил, словно удивляясь:

– Это – ты?

И она сказала:

– Я пришла. Это мой час. Пора.

Он замкнул за нею дверь и пошел к себе по неосвещенным комнатам. Слышал за собою легкий шорох ее ног.

И в темноте его покоя она прильнула к нему и поцеловала его целованием нежным и невинным.

– Кто же ты? – спросил он.

Сказала:

– Ты звал меня, и я пришла. Я не боюсь, и ты не бойся. Я дам тебе последнюю усладу жизни, – поцелуй смерти, – «и будет смерть твоя легка и слаще яда».

Спросил:

– А ты?

Ответила:

– Я сказала тебе, что сойду с твоею душою тем единственным путем, который перед нами.

– А твои смертеньши?

– Я послала их вперед, чтобы они шли перед нами и открывали нам двери.

– Как же ты вынешь мою душу? – спросил он опять.

И она прижалась к нему нежно и шептала:

– «Стилет остер и сладко ранит».

И прильнула, и целовала, и ласкала. И точно ужалила, – уколола в затылок отравленным стилетом. Сладкий огонь вихрем промчался по жилам, – и уже мертвый лежал в ее объятиях.

И вторым уколом отравленного острия она умертвила себя и упала мертвая на его труп.

Любви

Драма в двух действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Реатов, 44 года.

Александра, 20 лет.

Дунаев, 26 лет.

Действие первое

Комната в доме Реатовых. Александра в трауре, с фотографическим портретом в руках. Входит Реатов.

Реатов. Моя дочь в приятном обществе.

Александра (*вздрагнула, уронила портрет*). Ах, папа!
Ты меня испугал, – я задумалась.

Реатов. И жених на полу, – славно! Дай мне еще на тебя поглядеть. Ты похорошела.

Александра. Ах, папа!..

Реатов. А глаза красные, это нехорошо. Ты все плачешь.
Давай-ка лучше подыдем жениха и поставим его на стол.

Александра. Отец, такое горе, такое горе!

Реатов. Ну, полно, деточка, не плачь. Мама счастливее нас: у нее нет желаний, неисполнимых, безумных... Но как же ты похорошела! Как давно мы не виделись с тобой! Шесть лет. Ты девочкой была, таким нескладным подростком, а теперь – смотрите, жених какой-то уже нашелся.

Александра. Какой-то! Он – милый и добрый.

Реатов. Милые письма ты ко мне присылала раньше, до него.

Александра. Я думала, тебе неинтересно и некогда читать мою болтовню.

Реатов. Нет, Санечка. Присядем здесь, вот в этом уголке, и будем говорить много и долго. Расскажи мне о себе. Все по-прежнему, не правда ли? Трепетные огоньки перед иконами, и мольбы кому-то о чем-то, и странные жесты, – и эти долгие молитвы на коленях.

Александра. Мы здесь живем в глуши. Что сказать? Вот мой жених – не правда ли, он милый? Зачем ты бледный такой и хмурый? Он тебе не нравится разве? Ты знал его когда-то... Ты видел много, побывал далеко... Ну, что же ты молчишь? Скажи мне сказочку, как сказывал ты девочке-дочке давно, – ты помнишь? – в старые годы... О чем ты так задумался?

Реатов. Прости, дочка. Я отдыхаю... Кончились мои странствования – и я начинаю жить. Я люблюсь тобою, смотрю на твое прекрасное лицо, и меня берет досада...

Александра. На что?

Реатов. Александра, неужели ты выбрала его себе в мужа?

Александра. Что ж странного? Он добрый.

Реатов. Кому охота быть злым!

Александра. Мы будем счастливы... Вот ты увидишь его, узнаешь его поближе – и ты его полюбишь. Правда, полюбишь?

Реатов. Полюблю? Нет, дочка, я тебя люблю, это так, а его не намерен заключать в родственные объятия. Разве у него есть такие белые руки? Разве умеет он так прятать свою голову на моей груди и разве у него есть такие глаза? И досадно мне, что возьмет он тебя, мое сокровище. Не стоит он твоей любви.

Александра. Ах, нет!

Реатов. А впрочем... Он добрый, да, не правда ли?

Александра. Конечно, добрый, не то что ты.

Реатов. Да, это хорошо. Я рад за тебя. Он ведь носит тебя на руках, вот так, как я тебя несу? И носит, и подкидывает, и лелеет? Поцелует губы и щеки и снова подкинёт, вот так! Да?

Александра. Ну довольно, довольно, пусти меня. Какой ты сильный! Ты спокойно дышишь, а я точно версту пробежала... Что это, мы, как дети, шалим и смеемся в такое время.

Реатов. В какое время?

Александра. Давно ли я потеряла маму!

Реатов. Ну, деточка, что о том тужить, чего не воротить!

Так он в эти траурные дни ведет себя скромно и не покачает мою дочку?

Александра. Вот еще, – он не смеет.

Реатов. Любит и не смеет! Любит и не знает, какое блаженство держать в своих объятиях трепещущее тело возлюбленной!

Александра. Да и не у всех ведь такая силища, чтоб играть человеком, как мячиком.

Реатов. Понимаю, дитя, понимаю. Ценю твой нежный вкус: он, твой жених, не груб, как я, – он изящен, тонок. Он обожает тебя по-рыцарски: он приляжет у твоих ног, вот так, и поет тебе про любовь свою, и рассказывает тебе чудные легенды о том, как любили наши дедушки наших бабушек.

Александра. Он не умеет петь, и он не профессор истории.

Реатов. Разве? Ну, опять не так! Да, я знаю, он ведет в твоей гостиной только приличные разговоры и говорит о своей любви не иначе как по учебнику хорошего тона.

Александра. Я не знаю такого учебника.

Реатов. Оставим это. Иль нет, скажи мне, ты сама... сильно любишь его?

Александра. О да!

Реатов. Счастливые! А знаешь ли ты, как горят его поцелуи?

Александра. Горят? О да, он целует мне руки, но это вовсе не горячо.

Реатов. Только руки?

Александра. И только раз – но это я тебе по секрету – он поцеловал меня вот в это место.

Реатов. В эту бледную щеку, которая так очаровательно вспыхнула теперь?

Александра. Но я очень рассердилась и простила его только тогда, когда он сказал, что этого больше не будет...

Реатов. До свадьбы! Дети! Ромео, не дерзающий напоить свою Юлию сладчайшим нектаром любви, пока его не повенчают с нею!

Александра. Что ты говоришь, папа!

Реатов. Я рад, дитя мое, я рад. Ты сберегла невинность, и ты не знаешь любви. Я рад, дитя, тому, что вы не любите друг друга.

Александра. О нет, я люблю его, и он меня любит.

Реатов. Дитя, знай, что любовь, не запечатленная последними жертвами, – это облачко, которое растает под поцелуями могучего светила. Любовь не знает преград и запрещений, любовь на все дерзает, все смеет. Кто любит, тот силен, как Геркулес, – он рад нести на своих плечах мир, заключенный для него в возлюбленной. Кто любит, тот гениален, как Шекспир, и дело любви – творческое дело. Кто любит, тот безумец, маньяк и бешеный в одно и то же время: одна мысль сжигает его мозг, один образ царит над его душою, и все сокрушает непреодолимый ураган его неистовых желаний. Он берет возлюбленную, как законную добычу, в свои могучие

руки...

Александра. Ах, ты уронишь меня! Пусти меня. У тебя глаза горят. Я не понимаю твоих слов.

Реатов. Когда стремится он к обладанию красотой, каменные стены падают перед ним, и нет преграды, которая не разорвалась бы под напором его исступленной воли, как разрывается хрупкая ткань твоего траурного платья.

Александра. Отец! Что ты делаешь? Безумный, ты разорвал мое платье! Ну к чему это?

Реатов. Не он научит тебя любить. Прости, дитя. Я так давно тебя не видел, и мне жаль твоего сердца, которое ты хочешь снести в сырой ледник семейного счастья.

Александра. Вот, надо идти, переодеться, а то еще увидит кто-нибудь это разорванное...

Реатов. Подожди. Дай мне обнять тебя... Молнии в твоих глазах, черных, как ночь... Скажи, видел ли когда-нибудь он, твой жених скромненький, вот эту прекрасную грудь и вот это место под золотым амулетом?

Александра. Ну конечно, не видел. Пусти меня.

Уходит.

Действие второе

Там же. Через несколько дней. Александра и Дунаев тихо разговаривают. Реатов входит.

Реатов. Вот два голубка неразлучные. Воркуете?

Александра. Воркуем.

Реатов. Ну, здравствуйте, дети мои, воркуйте и будьте счастливы.

Дунаев. О да, я постараюсь, чтоб Александра была счастлива.

Реатов. Постарайтесь, мой друг, но только поберегите ваше здоровье, не расточайте безрасчетливо ваших сил, как тот итальянский мальчишка, безумец Ромео, который в одну ночь готов был излить на свою супругу весь Эдем наслаждений. Будьте благоразумны, как гоголевский Шиллер, и вы будете пользоваться патентованным и непромокаемым счастьем.

Дунаев. Мы будем счастливы, конечно.

Реатов. «Как боги на недоступных небесах?»

Дунаев. Как боги? О нет! Все мы люди, все человеки. И зачем недоступные небеса? Мы хотим быть счастливы на миру, на людей посмотреть и себя показать. Наш рай будет доступен для наших друзей.

Реатов. Для друзей? Мило сказано.

Дунаев. А вы сегодня чем-то словно недовольны?

Реатов. Нет.

Дунаев. Вы так бледны. Вы, может быть, не совсем здоровы? Послать бы за доктором.

Реатов. Нет, мой друг, благодарю вас, я совсем здоров. Но только я расстроен. Дела такие... Словом, я нашел, чего

не ожидал.

Александра. Он все больше сидит и читает. Какие страшные и очаровательные есть книги!

Реатов. Хотел бы я, Алексей Сергеевич, вам два слова сказать наедине, если вы позволите.

Дунаев. Я готов слушать.

Реатов. Это наша тайна, Санечка, строжайшая тайна.

Александра. Я никому ее не выдам.

Реатов. Да и мы ее тебе не выдадим.

Александра. Он не должен иметь тайн от меня.

Реатов. А все-таки это наша тайна.

Александра. Так я, значит, лишняя! Вот мило!

Реатов. Не сердись, мой друг: через короткое время я верну его тебе, а теперь ты нас оставь.

Александра. Хорошо, что ж делать! Это как тогда, когда я была девочкой, и ты занимался, а я приходила тебе мешать, ты меня и выпроваживал, как теперь.

Реатов. Да, а ты сердилась и объявляла, что больше ко мне не придешь.

Александра. До свиданья, Алексей Сергеич, – секретничайте себе.

Реатов. Только смотри, деточка, не вздумай подслушивать.

Александра. Ну конечно, не буду. Я не такая любопытная.

Уходит.

Реатов. Садитесь, Алексей Сергеич, и поговорим. Прямо к делу. Вы знаете, что имеет ваша невеста?

Дунаев. Аполлон Максимович! Это меня нисколько не интересует.

Реатов. Решительно нисколько?

Дунаев. Конечно, мои средства невелики, а привычки Александры...

Реатов. Одним словом, приданое не мешает?

Дунаев. Я за деньгами не гонюсь, но если Александра имеет деньги, то тем лучше для нее. Я осмелился искать ее руки только потому, что искренно люблю ее, и для меня все равно, хоть бы она ничего не имела.

Реатов. Друг мой, позвольте мне обнять вас. Теперь я спокоен за Александру. Слава Богу, теперь я вижу, что ее судьба в добрых и верных руках. А если б вы знали, как я мучился последние дни, когда познакомился с состоянием наших дел!

Дунаев. Но разве?..

Реатов. Дорогой мой, мы совершенно разорены.

Дунаев. Но неужели?..

Реатов. Да, моя благоверная жила не по средствам. Я плавал, а здесь... Были сделаны рискованные нововведения в хозяйстве. Еще старые долги, которые надо выплатить.

Дунаев. Вот как!

Реатов. Но это бы еще с полбеды. А вот беда: весь капитал был отдан в руки спекулянта, который внезапно обанк-

ротился.

Дунаев. Все это очень неприятно. Я не смогу доставить Александре Аполлоновне всего того, что она привыкла иметь.

Реатов. Что делать! Я отдам Александре все, что могу, но боюсь, что вряд ли уцелеют от нашего состояния и малые крохи. Александра, быть может, избалована жизнью. Любовь – дело хорошее, с милым рай и в шалаше, да только иногда браки по любви кончаются потасовками супругов. Лучше подавить в себе нежные чувства, чем потом всю жизнь плакаться на судьбу. Так и вы лучше подумайте, не отказаться ли вам от этого брака, пока не поздно.

Дунаев. Нет, Аполлон Максимович, если Александра Аполлоновна согласится делить мою бедность, то я буду счастлив назвать ее своей женой. Бог с ним, с этим богатством! Все это, пожалуй, и к лучшему.

Реатов. Даже к лучшему?

Дунаев. Да, конечно: по крайней мере, ни люди не осудят, что из-за денег женился, да и жена будет знать, что я не за приданое ее беру, а по любви.

Реатов. Так! Нечто вроде благодеяния делаете?

Дунаев. Помилуйте, Аполлон Максимович, это, напротив, я буду считать себя осчастливленным, если Александра Аполлоновна согласится...

Реатов. Да, да, я верю вашим благородным чувствам. А все-таки, мой друг, без денег плохо. Тем более что и в буду-

цем, как оказывается, нет ни малейшей надежды.

Дунаев. Буду надеяться на себя, на свои силы, с нас и достаточно.

Реатов. Был дядя у моей жены, вы знаете?

Дунаев. Разве уж скончался?

Реатов. Нет, еще жив. Но я говорю: был, потому что если б он раньше умер, то жена была бы его наследницей, а теперь...

Дунаев. А теперь Александра Аполлоновна – наследница.

Реатов. Александра – наследница? С чего вы это взяли?

Дунаев. Но как же? Ведь ваша супруга получила бы, если б не скончалась, – так почему же Санечка не может?

Реатов. Почему не может?.. Ах, вот что, – так вы до сих пор ничего не знали... А я думал...

Дунаев. Но в чем же дело? Я, право, ничего не понимаю.

Реатов. Так вам жена-покойница ничего не открыла?

Дунаев. Ничего.

Реатов. Странно. А впрочем, это на нее так похоже. Всегда фантазии, тайны, неожиданности, капризы... Да Александра и сама не знает... Она выросла в нашей семье в таких мыслях...

Дунаев. Так неужели Александра Аполлоновна?..

Реатов. Да, друг мой, – ведь вы все равно скоро узнали бы истину... Жена хотела непременно иметь девочку, – и вот...

Дунаев. Так вот в чем дело! А я ничего не знал. Мне по-

чему-то не сказали.

Реатов. Вы так любите ее, что вам все равно, как бы она ни называлась.

Дунаев. Да, конечно, но...

Реатов. Не все ли равно, Реатова ли она или Александра Трофимовна Водохлебова, крестьянская девица? Конечно, фамилия немножко вульгарная...

Дунаев. Да, но...

Реатов. Но она покроется фамилией мужа, не так ли? Деревенская родня не очень нам надоедала.

Дунаев. А бывали-таки?

Реатов. Нельзя же, знаете, без того. Родственные чувства...

Дунаев. Да, да, конечно...

Реатов. Эти деревенские гостинцы, кокорки, калитки из черного теста с кислым творогом... Точно Александра может их есть! Конечно, уписывала бы за обе щеки, но воспитание, вы знаете.

Дунаев. Да, конечно.

Реатов. Вот только то досадно, что это обстоятельство лишает ее, как видите, права получать наследства от родственников моей покойной жены.

Дунаев. Ну что ж, и не надо.

Реатов. Так не лучше ли вам, голубчик, отказаться? А? Пока не поздно. Вы найдете себе легко и богатую невесту. Право, лучше будет, а?

Дунаев. Нет, да отчего же! Я, право, не знаю.

Реатов. Вы бы подумали, мой друг, прежде чем связывать себя.

Дунаев. Да, конечно, я подумаю...

Реатов. Ну вот и отлично.

Дунаев. Да нет, впрочем, отчего же! Мне все равно, а вот как Александра Аполлоновна, это от Александры Аполлоновны зависит.

Реатов. Так вот, я вам высказал. Теперь, если угодно, я пошлю к вам Александру.

Дунаев. Да, да, конечно, Александра Трофимовна...

Реатов. Только знаете что, друг мой, вы ее пока Александрой Трофимовной не называйте, – пусть она пока Аполлоновной останется. Она, видите ли, привыкла, – а так, сразу, пожалуй, обидно покажется.

Дунаев. Да, да, я понимаю, это совершенно нечаянно, с языка сорвалось. Так я уж тут подожду.

Реатов. Сейчас я вам ее пришлю.

Уходит. Дунаев мнетя на месте. Берет шляпу. Очень расстроен. Прохаживается. Заглянул в зеркало. Подошел к двери направо. Постоял. Пожал плечами. Быстро пошел к выходной двери, в глубине. Взялся за ручку двери. Не открыть. Возится с ручкою, толкает дверь. Отходит красный, раздосадованный. Бормочет.

Дунаев. Черт знает, что такое!

Подходит к окну. Лезет на подоконник. Входит Алек-

сандра.

Александра. Что вы там делаете? Зачем вы на подоконник влезли?

Дунаев (*спрыгнул с подоконника*). Ах, это вы, Александра Аполлоновна!.. Я, видите ли, я... так... то есть я уронил платок за окошко.

Александра. Так вы за платком! Какой вы смешной! Да вы бы послали кого-нибудь.

Дунаев. Да мне, видите ли, здесь ближе...

Александра. Побоялись, чтобы не унесли вашего платка? Какой вы скупой! Покажите же мне этот драгоценный платок. (*Смотрит в окно.*) Что-то я его не вижу.

Дунаев. Ветер унес, ветер, Александра Аполлоновна.

Александра. Полноте, какой теперь ветер!

Дунаев. То есть нет, это вот сейчас, когда я с вами говорил, мальчишка пробежал, подхватил платок да и был таков. Теперь я вспомнил, что тут вертелся мальчишка, белоголовый такой мальчишка, оборвыш, дыра на коленке.

Александра. Белоголовый оборвыш похитил ваш платок, а вы за ним в погоню через окошко устремились? Похвально!

Дунаев (*мямлит*). Да, ну что ж.

Александра. Положите вашу шляпу и садитесь. И вперед не роняйте платков за окошко и не убегайте через окно – на то двери есть.

Дунаев. Извините, Александра Аполлоновна, но мне на-

до идти. Если позволите, я приду вечером, а пока...

Александра. Подождите. Тут дело неспроста. Объясните мне, что это значит. О чем вы говорили с отцом? Что с вами? Отчего вы так смущены?

Дунаев. Право, ничего, Александра Аполлоновна, ничего, – все это разъяснится своевременно, разъяснится к общему удовольствию.

Александра. Да что разъяснится? Что случилось? Отчего вы хотели прыгать из окна? Кажется, про платок вы сфантазировали зачем-то.

Дунаев. Право, я не знаю, как сказать...

Александра. И если вы хотели уйти, не встретившись со мной, отчего вы не прошли через эту дверь?

Дунаев. Но эта дверь заперта на ключ.

Александра. Заперта? Вот странно! А вы разве уже пробовали там пройти? Да, в самом деле, заперта. (Нажимает кнопку электрического звонка. Медленно подходит к двери направо. Тихо говорит что-то, приоткрыв дверь. Возвращается.) Что это за шутки, объясните ли вы мне это наконец?

Дунаев. Хорошо, Александра Аполлоновна, если вы непременно требуете, я буду откровенен. Я думал, что нам сегодня лучше было бы не встречаться. Аполлон Максимович разъяснит вам, что ваше положение оказывается теперь другим, то есть в имущественном отношении... то есть... что средства ваши теперь уж не те... то есть нельзя сказать, что разорение...

Александра. То есть, то есть! Как вы тянете! Сказали бы прямо, что моих денег для вас мало...

Дунаев. Нет, я не то имел в виду. Но мои средства так ограничены, я не могу доставить вам того, что вы привыкли иметь, и я думал, что вы, узнав настоящее положение дел, сами откажетесь...

Александра. От чести быть вашей женою? Вы этого хотите?

Дунаев. Поверьте...

Александра. Довольно. Я поняла. Вы свободны. Идите.

Дунаев. Поверьте, Александра Трофимовна...

Александра. Как?

Дунаев. Виноват, совершенно нечаянно.

Александра. Вам хочется показать, что вы уже забываете, как меня зовут? Это забавно. Придумал – Трофимовна!

Дунаев. Виноват, я думал... мне слышалось... Аполлон Максимович сказал...

Александра. Вы думали, вам слышалось, вам сказали, – ничего не пойму.

Дунаев. Но я думал, что вы знаете. Виноват, я, кажется, смешал.

Александра. Смешали меня с какой-то Трофимовной? Это ваша новая невеста? Да? Прощайте.

Быстро уходит в дверь направо. Дунаев в нерешительности ходит по комнате, тихонько, словно крадучись, подбегает к выходной двери – исчезает в нее.

Александра (*возвращаясь*). Ушел...

Молча стоит у окна. Входит Реатов.

Реатов. Ушел? Александра, какие у тебя холодные руки.

Дай мне обнять тебя. Скажи мне свое горе...

Александра. Жалкий такой... Ушел... Назвал меня Трофимовной...

Реатов. Тебе жаль его?

Александра. Любви моей жалко! Любить такого! Стыд!

Реатов. Прости меня, дитя, за то, что я сделал. Я заставил его снять перед тобою маску, чтоб рассеять твои иллюзии. Я знаю тебя: у тебя гордое сердце, и ты выберешь лучше смертную муку, чем сладкую ложь.

Александра. Да... Благодарю тебя... Но это жестоко – то, что ты сделал.

Реатов. Только жестокая воля – воля.

Александра. Что ты ему сказал?

Реатов. Немногое. Я сказал, что мы разорены, что наследства ты не получишь, потому что ты – наш приемыш, крестьянская девочка.

Александра. Разве это правда?

Реатов. Мы богаты. Он это скоро узнает и вернется к тебе.

Александра. Да я к нему уж не вернусь. Но зачем ты это сказал?

Реатов. Затем, чтобы разом сорвать с него маску. Я не хочу, чтоб ты ему досталась, потому что я тебя люблю, я сам

тебя люблю, люблю не так, как любят дочь, люблю тебя пламенной, непобедимую любовью. Не гляди на меня в ужасе своими молниями-глазами. Любовь – не грех, любовь – закон природы. Не мы сами распалили ее в себе – неотразимая сила вложила ее в нас, и мы должны быть счастливы, хотя бы пришлось за это счастье заплатить ценою всей жизни. Мы уедем с тобой далеко, в чужие края, где нас не знают, – мы будем счастливы бурным и жгучим счастьем, сестра души моей, надменная и кроткая... Кто захочет отнять от нас наше счастье, доколе мы, пресыщенные им, не отбросим его от себя, вместе с ненужной жизнью?

Александра. Ужасно то, что ты говоришь. Это грех.

Реатов. Любовь – не грех.

Александра. Ты сказал ему, что я приемыш, что я не дочь тебе. Может быть, это правда? Скажи мне, дочь я тебе или нет?

Реатов молчит.

Александра. Если б я не была твоей дочерью!

Реатов. Хорошо, Александра, я скажу тебе правду, но раньше ответь мне на два мои вопроса. Обещай, что скажешь мне правду.

Александра. Хорошо, я скажу тебе правду.

Реатов. Как бы это ни было тяжело?

Александра. Как бы мне ни было тяжело, я скажу тебе правду. Я скажу тебе правду даже и тогда, если и сама еще этой правды не знаю теперь. Я обнажу свое сердце и из самой

глубины его выну правду. И тогда ты мне скажешь, дочь я тебе или нет.

Реатов. Да. Скажи мне: отец я тебе или не отец – это сейчас ты узнаешь наверное, – но и в том и в другом случае чувство твое останется то же? Сердце твое не перегорит же от одного моего слова, которое притом будет слово о прошлом, далеком прошлом?

Александра. Да, сердцу моему все равно, отец ты мне или не отец.

Реатов. Теперь скажи, любишь ли ты меня? Хочешь ли быть моею? Ты побледнела и молчишь, – но ты обещала сказать мне правду. Я жду... Какое долгое молчание! Да, не торопись ответом, испытай свое сердце, – ты скажешь правду.

Долгое молчание. Александра отошла. Стоит. Возвращается.

Реатов. Какую тайну ты несешь мне? Тебе страшно сказать ее. Скажи только одно слово: если ты любишь меня, если ты хочешь быть моею, скажи мне: «Да». А если не так, скажи: «Нет».

Александра (*поспешно*). Да.

Реатов. Я достиг цели. Но как тяжело! Это почти не радует меня. Да, теперь мой черед сказать последнее, роковое слово.

Александра. Скажи, я дочь твоя или нет?

Реатов. Я люблю тебя.

Александра. Я не дочь тебе? Да? Не дочь?

Реатов. Дочь.

Александра. Дочь!.. Что же, сожжем ветхие слова, которые нас разделили. Я хочу...

Красота

I

В строгом безмолвии вечеряющего дня Елена сидела одна, прямая и неподвижная, положив на колени белые, тонкие руки. Не наклоняя головы, она плакала; крупные, медленные слезы катились по ее лицу, и темные глаза ее слабо мерцали.

Нежно любимую мать схоронила она сегодня, и так как шумное горе и грубое участие людское были ей противны, то она на похоронах, и раньше, и потом, слушая утешения, воздерживалась от плача. Она осталась, наконец, одна, в своем белом покое, где все девственно чисто и строго, – и печальные мысли исторгли из ее глаз тихие слезы.

Еленино платье, строгое и черное, лежало на ней печально, – как будто, облекая Елену в день скорби, не могла равнодушная одежда не отражать ее омраченной души. Елена вспоминала покойную мать, – и знала, что прежняя жизнь, мирная, ясная и строгая, умерла навсегда. Прежде чем начнется иное, Елена холодными слезами и неподвижной грустью поминала прошлое.

Ее мать умерла не старая. Она была прекрасна, как богиня древнего мира. Медленны и величавы были все ее движения.

Ее лицо было, как бы обвеяно грустными мечтами о чем-то навеки утраченном или о чем-то желанном и недостижимом. Уже на нем давно, предвещательница смерти, лежала темная бледность. Казалось, что великая усталость клонила к успокоению это прекрасное тело. Белые волосы между черными все заметнее становились на ее голове, и странно было Елене думать, что ее мать скоро будет старухой...

Елена встала, подошла к окну и медленно отодвинула тяжелый занавес, чтобы рассеять сумерки, которых она не любила. Но и оттуда, извне, томил ее взоры серый и тусклый полусвет, – и Елена опять села на свое место и терпеливо ждала черной ночи и плакала медленными и холодными слезами.

И наконец, настала ночь, в комнату принесли огонь, и Елена снова подошла к окну. Густая темнота окутывала улицу. Бедные и грубые предметы скучной обычности скрывались в черном покрове ночи, – и было что-то торжественное в этой печальной черноте. Против окна, у которого стояла Елена, слабо виднелся, на другой стороне улицы, при свете редких фонарей, маленький, кирпично-красный дом кузнеца. Фонари стояли далеко от него, – он казался черным.

Вдруг из раскрытой кузницы к воротам пронеслась медленно громадная красная искра, и мрак вокруг нее словно сгустился, – это кузнец пронес по улице кусок раскаленного железа. Внезапная зажглась радость в Елениной душе и заставила Елену тихо засмеяться, – в просторе безмолвного

покою пронесся звонкий и радостный смех.

И когда прошел кузнец, и скрылась красная в черном мраке искра, – Елена удивилась своей внезапной радости и удивилась тому, что она все еще нежно и трепетно играет в ее душе. Почему возникает, откуда приходит эта радость, исторгающая из груди смех и зажигающая огни в глазах, которые только что плакали? Не красота ли радует и волнует? И не всякое ли явление красоты радостно?

Мгновенная пронеслась она во мраке, рожденная от грубого вещества, и погасла, как и надлежит являться и проходить красоте, радуя и не насыщая взоров своим ярким и преходящим блеском...

Елена вышла в неосвещенный зал, где слабо пахло жасмином и ванилью, и открыла рояль; торжественные и простые мелодии полились из-под ее пальцев, и ее руки медленно двигались по белым и черным клавишам.

II

Елена любила быть одна, среди прекрасных вещей в своих комнатах, в убранстве которых преобладал белый цвет, в воздухе носились легкие и слабые благоухания, и мечталось о красоте так легко и радостно. Все благоухало здесь едва различными ароматами: Еленины одежды пахли розами и фиалками, драпировки – белыми акациями; цветущие гиацинты разливали свои сладкие и томные запахи. Было много

книг, – Елена читала много, но только избранные и строгие творения.

С людьми Елене было тягостно, – люди говорят неправду, льстят, волнуются, выражают свои чувства преувеличенным и неприятным способом. В людях много нелепого и смешного: они подчиняются моде, употребляют зачем-то иностранные слова, имеют суетные желания. Елена была сдержанна с людьми и не могла любить ни одного из тех, кого встречала. Одна только была, которая стоила любви, мать, – потому что она была спокойная, прекрасная и правдивая. Елена хотела бы, чтобы и все люди стали когда-нибудь такими же, чтобы они поняли, что одна есть цель в жизни – красота, и устроили себе жизнь достойную и мудрую...

Горели лампы, – их свет разливался неподвижно, ясно и бело. Пахло розой и миндалем. Елена была одна.

Она замкнула дверь на ключ, зажгла перед зеркалом свечи и медленно обнажила свое прекрасное тело.

Вся белая и спокойная стояла она перед зеркалом и смотрела на свое отражение. Отсветы от ламп и от свеч пробежали по ее коже и радовали Елену. Нежная, как едва раскрывшаяся лилия с мягкими, еще примятыми листочками, стояла она, и безгрешная алость разливалась по ее девственному телу. Казалось, что сладкий и горький миндальный запах, веющий в воздухе, исходит от ее нагого тела. Сладостное волнение томило ее, и ни одна нечистая мысль не возмущала ее девственного воображения. И нежные грезилась

ей, и безгрешные поцелуи, тихие, как прикосновение полуденного ветра, и радостные, как мечты о блаженстве.

Радостна была для Елены обнаженная красота ее нежного тела, – Елена смеялась, и тихий смех ее звучал в торжественной тишине ее невозмутимого покоя.

Елена легла грудью на ковер и вдыхала слабый запах резеды. Здесь, внизу, откуда странно было смотреть на нижние части предметов, ей стало еще веселей и радостней. Как маленькая девочка, смеялась она, перекаtywаясь по мягкому ковру.

III

Много дней подряд, каждый вечер, любовалась Елена перед зеркалом своей красотой, – и это не утомляло ее. Все бело в ее горнице, – и среди этой белизны мерцали алые и желтые тоны ее тела, напоминая нежнейшие оттенки перламутра и жемчуга.

Елена поднимала руки над головой и, приподнимаясь, вытягивалась, изгибалась и колебалась на напряженных ногах. Нежная гибкость ее тела веселила ее. Ей радостно было смотреть, как упруго напрягались под нежной кожей сильные мускулы прекрасных ног.

Она двигалась по комнате, нагая, и стояла, и лежала, и все ее положения, и все медленные движения ее были прекрасны. И она радовалась своей красоте, и проводила, обнажен-

ная, долгие часы, – то мечтая и любуясь собой, то прочитывая страницы прекрасных и строгих поэтов...

В чеканной серебряной амфоре белела благоуханная жидкость: Елена соединила в амфоре ароматы и молоко. Елена медленно подняла чашу и наклонила ее над своей высокой грудью. Белые, пахучие капли тихо падали на алую, вздрагивающую от их прикосновения, кожу. Запахло сладостно ландышами и яблоками. Благоухания обняли Елену легким и нежным облаком...

Елена распустила длинные черные волосы и осыпала их красными маками. Потом белая вязь цветов поясом охватила гибкий ее стан и ласкала ее кожу. И прекрасны были благоуханные эти цветы на обнаженной красоте ее благоуханного тела.

Потом она сняла с себя цветы и опять собрала волосы высоким узлом, облекла свое тело тонкой одеждой и застегнула ее на левом плече золотой пряжкой.

Сама она сделала для себя эту одежду из тонкого полотна, так что никто еще не видел ее.

Елена легла на низкое ложе, и сладостные мечтания пронеслись в ее голове, – мечтания о безгрешных ласках, о невинных поцелуях, о нестыдливых хороводах на орошенных сладостной росой лугах, под ясными небесами, где сияет кроткое и благостное светило.

Она глядела на свои обнаженные ноги, – волнистые линии голеней и бедер мягко выбегали из-под складок корот-

кого платья. Желтоватые и алые нежные тоны на коже рядом с однообразной желтоватой белизной полотна радовали ее взоры. Выдающиеся края косточек на коленях и стопах и ямочки рядом с ними – все осматривала Елена любовно и радостно и осызала руками, – и это доставляло ей новое наслаждение.

IV

Однажды вечером Елена забыла запереть дверь перед тем, как раздеться. Обнаженная, она стояла перед зеркалом, подняв руки над головой.

Вдруг приотворилась дверь. В узком отверстии показалась голова, – это заглянула горничная Макрина, смазливая девица с услужливо-лукавым выражением на румянном лице. Елена увидела ее в зеркале. Это было так неожиданно. Елена не сообразила, что ей сделать или сказать, и стояла неподвижно. Макрина скрылась сейчас же, так же бесшумно, как и появилась. Можно было подумать, что она и не подходила к двери, что это только так привиделось.

Елене стало досадно и стыдно. Хотя она едва только успела бросить взгляд на Макрину, но ей уже казалось, что она видела промелькнувшую на Макрином лице нечистую улыбку. Елена поспешно подошла к двери и заперла ее на ключ. Потом она легла на низком и мягком ложе и думала печально и смутно...

Досадные подозрения раскрывались в ней... Что скажет о ней Макрина? Теперь она, конечно, пошла в людскую и там рассказывает кухарке, шепотом, с гадким смехом. Волна стыдливого ужаса пробежала по Елене. Ей вспомнилась кухарка Маланья, – румяная, молодая бабенка, веселая, с лукавым смешком...

Что же теперь говорит Макрина? Елене казалось, что кто-то шепчет ей в уши Макринины слова:

– И вижу это я сквозь щелку, – стоит барышня перед зеркалом в чем мать родила, – вся как есть совсем выпалимшись.

– Да что ты! – восклицает Маланья.

– Вот ей-Богу! – говорит Макрина. – Вся голая, и фигурует, и фигурует, – и этак-то повернется, и так-то...

Макрина топчется на месте, представляя барышню, и обе хохочут. Циничные, грубые слова звучали с беспощадно-гнусной ясностью; от этих слов и от грубого смеха горничной и кухарки Еленино лицо покрылось жгучим румянцем стыда и обиды.

Она чувствовала стыд во всем теле, – он разливался пламенем, как снедающая тело болезнь. Долго Елена лежала неподвижная, в каком-то странном и тупом недоумении, – потом стала медленно одеваться, хмуря брови, как бы стараясь решить какой-то трудный вопрос, и внимательно рассматривая себя в зеркале.

V

В следующие за тем дни Макрина держала себя так, как будто она тогда и не видела ничего и даже не приходила, – и это ее притворство раздражало Елену. И потому уже все в Макрине, что было и раньше, но чего не замечала.

Елена, теперь стало ей противно. Неприятно было одеваться и раздеваться при Макрине, принимать ее услуги, слушать ее льстивые слова, которые прежде терялись в лепечущих звуках водяных струек, плещущих об Еленино тело, а теперь поражали слух.

И в первый раз, когда Макрина заговорила попрежнему, Елена вслушалась в ее слова и дала возможность своему раздражению.

Утром, когда Елена входила в ванну, Макрина, поддерживая ее под локоть, сказала со льстивой улыбкой:

– В такую милочку, как вы, кто не влюбится! Разве у кого глаз нет, тот только не заметит. Что за ручки, что за ножки!

Елена покраснела.

– Пожалуйста, перестаньте, – резко сказала она.

Макрина взглянула на нее с удивлением, опустила глаза и потом, – или это только показалось Елене? – легонько усмехнулась. И эта усмешка еще более раздражила Елену, – но уже она овладела собой и промолчала...

Упрямо, без прежнего радования, с какими-то злыми ду-

мами и опасениями Елена продолжала каждый день обнажать свое прекрасное тело и смотреть на себя в зеркало. Она делала это даже чаще, чем прежде, не только вечером, при свете ламп, но и днем, опустив занавесы. Теперь она уже не забывала опускать портьеры, чтобы не подсматривали и не подслушивали ее снаружи, и при этом стыд делал все ее движения неловкими.

Уже не таким, как прежде, прекрасным казалось теперь Елене ее тело. Она в этом теле находила недостатки, – старательно отыскивала их. Чудилось в нем нечто отвратительное, – зло, разъедающее и позорящее красоту, как бы налет какой-то, паутина или слизь, которая противна и которую никак не стряхнуть.

Елене часто казалось, что на ее обнаженном теле тяжело лежат чьи-то чужие и страшные взоры. Хотя никто не смотрел на нее, но ей казалось, что вся комната на нее смотрит, и от этого ей делалось стыдно и жутко.

Было ли это днем, – Елене казалось, что свет бесстыден и заглядывает в щели из-за занавеса острыми лучами, и смеется. Вечером безокие тени из углов смотрели на нее и зыбко двигались, и эти их движения, которые производились трепетавшим светом свеч, казались Елене беззвучным смехом над ней. Страшно было думать об этом беззвучном смехе, и напрасно убеждала себя Елена, что это обыкновенные неживые и незначительные тени, – их вздрагивание намекало на чуждую, недолжную, издевающуюся жизнь.

Иногда внезапно возникало в воображении чье-то лицо, обрюзглое, жирное, с гнилыми зубами, – и это лицо похотливо смотрело на нее маленькими, отвратительными глазами.

И на своем лице Елена порой видела в зеркале что-то нечистое и противное и не могла понять, что это.

Долго думала она об этом и чувствовала, что это не показалось ей, что в ней родилось что-то скверное, в тайниках ее опечаленной души, меж тем как в теле ее, обнаженном и белом, подымалась все выше горячая волна трепетных и страстных волнений.

Ужас и отвращение томили ее.

И поняла Елена, что невозможно ей жить со всем этим темным на душе. Она думала: «Можно ли жить, когда есть грубые и грязные мысли? Пусть они и не мои, не во мне зародились, – но разве не моими стали эти мысли, как только я узнала их? И не все ли на свете мое, и не все ли связано неразрывными связями?»

VI

В гостиной у Елены сидел Ресницын, молодой человек, по-модному одетый, несколько вялый, но совершенно влюбленный в себя и уверенный в своих достоинствах. Его любви сегодня не имели никакого успеха у Елены, как и раньше, впрочем. Но прежде она выслушивала его с той общей и безличной благосклонностью, которая привычна для

людей так называемого «хорошего общества». Теперь же она была холодна и молчалива.

Ресницын чувствовал себя выбитым из колеи, а потому сердился и нервно играл моноклем. Он не прочь был бы назвать Елену невестой, и ее холодность казалась ему грубостью. А Елену более, чем когда-либо прежде, утомляло в его разговоре легкомысленное порхание с предмета на предмет. Она сама говорила всегда сжато и точно, и всякое многоречие людское было ей тягостно. Но люди почти все таковы, – распушенные, беспорядочные.

Елена спокойно и внимательно смотрела на Ресницына, как бы находя в нем какое-то печальное соответствие своим горьким мыслям. Неожиданно для него она спросила:

– Вы любите людей?

Ресницын усмехнулся небрежно, с видом умственного превосходства, и сказал:

– Я сам человек.

– Да себя-то вы любите? – опять спросила Елена. Он пожал своими узенькими плечами, саркастически усмехнулся и сказал притворно-вежливым тоном:

– Люди вам не угодили? Чем, позвольте спросить!

Видно было, что он чувствует себя оскорбленным за людей тем, что Елена допускает возможность и не любить их.

– Разве можно любить людей? – спросила Елена.

– Почему же нельзя? – изумленно переспросил он.

– Они сами себя не любят, – холодно говорила Елена, – да

и не за что. Они не понимают того, что одно достойно любви, – не понимают красоты. О красоте у них пошлые мысли, такие пошлые, что становится стыдно, что родилась на этой земле. Не хочется жить здесь.

– Однако же вы живете здесь! – сказал Ресницын.

– Где же мне жить! – холодно промолвила Елена.

– Где же люди лучше? – спросил Ресницын.

– Да они везде одинаковы, – ответила Елена, и легкая презрительная усмешка мелькнула на ее губах.

Ресницын не понимал. Разговор этот стеснял его, казался ему неприличным и странным. Он поспешил распрощаться и уйти.

VII

Вечерело. Елена была одна.

На тихом воздухе ее покоя ванильный запах гелиотропа не смешивался с медовым ароматом черемухи и со сладкими благоуханиями роз и побеждал их.

– Построить жизнь по идеалам добра и красоты! С этими людьми и с этим телом! – горько думала Елена. – Невозможно! Как замкнуться от людской пошлости, как уберечься от людей! Мы все вместе живем, и как бы одна душа томится во всем многоликом человечестве. Мир весь во мне. Но страшно, что он таков, каков он есть, и как только его поймешь, так и увидишь, что он не должен быть, потому что он лежит

в пороке и во зле. Надо обречь его на казнь, и себя с ним.

Тоскующие Еленины глаза остановились на блестящем предмете, красивой игрушке, брошенной на стол.

– Как это просто! – подумала она. – Вот, довольно хоть бы этого ножа.

Тонкий позолоченный кинжал, из тех, которые иногда употребляются для разрезывания книг, с украшенной искусственной резьбой рукоятью и с обоюдоострым лезвием, лежал на ее письменном столе. Елена взяла его в руки и долго любовалась им. Она купила его недавно, не потому, что он был ей нужен, – нет, ее взоры привлек странный, запутанный узор резьбы на рукояти.

«Прекрасное орудие смерти», – подумала она и улыбнулась. Улыбка ее была спокойная и радостная, и мысли в голове у ней проходили ясные и холодные.

Она встала, – и кинжал блестел в ее опущенной, обнаженной руке, на складках ее зеленовато-желтого платья. Она ушла в свою опочивальню и на подушках, лезвием к изголовью, положила кинжал. Потом надела она белое платье, от которого томно и сладостно пахло розами, опять взяла кинжал и легла с ним на постель, поверх белого одеяла. Ее белые башмаки упирались в подножие кровати. Она полежала несколько минут неподвижно, с закрытыми глазами, прислушиваясь к тихому голосу своих мыслей. Все в ней было ясно и спокойно, и только темное томило ее презрение к миру и к здешней жизни.

И вот, – как будто кто-то повелительно сказал ей, что настал ее час. Медленно и сильно вонзила она в грудь, – прямо против ровно бывшего сердца, кинжал до самой рукояти, – и тихо умерла. Бледная рука разжалась и упала на грудь, рядом с рукоятью кинжала.

Отрава

I

Волнуясь сдержанно и прилично, Скрынин ходил взад и вперед по застекленной и уже утром жаркой веранде. Его волнение выражалось только в пожимании узких плеч, в иронических усмешках бледноватых губ, в преувеличенной томности негромкого голоса.

Елена сердитыми глазами смотрела на мужа и прижималась к спинке углового плетеного диванчика, словно ей было холодно. Ее темно-синие глаза казались почти черными, и брови были так нахмурены, что казались, и без того густые, вдвое гуще.

Они ссорились, как часто это бывало в последние два года. Повод к ссоре был ничтожен, и через пять минут неприятного разговора уже оба позабыли, из-за чего это началось. Муж был, как всегда, безукоризненно и отвратительно прав. Елена, по обыкновению, капризничала, и все слова ее были жалкими и неумными.

Скрынин спросил, уже не первый сегодня раз:

– Я не понимаю, чего же ты, Елена, наконец, хочешь!

Иронический взгляд, пожимание плеч вкривь, так что ле-

вое плечо становилось гораздо выше, презрительно-томный голос, – все, что уже давно почти до бешенства раздражало молодую женщину. Она судорожно уцепилась пальцами за локотники диванчика, так что они протяжно заскрипели.

С тихой злобою, едва удерживаясь от крика, Елена говорила:

– Что я хочу? О, вопрос очень умный, как все, что вы говорите.

– Не вижу никакой прелести в том, чтобы говорить глупости, – возразил Скрынин.

– По-вашему, я в этом вижу прелесть, – говорила Елена. – Ну да, я – глупая, глупая. Чего я хочу? От вас, от себя, от жизни, – чего хочу? Как же я могу это знать!

– Кто же другой за тебя это может знать? – иронически спросил Скрынин.

– Тот, кто спрашивает, – решительно отвечала Елена.

И глаза ее гневно засверкали, когда она говорила:

– Тот, кому я отдала зачем-то мою жизнь, какие-то права на меня. Даром отдала, чтобы он ничего не знал обо мне. А я что ж! Мечусь, как слепая бабочка. И что будет со мною, не знаю. Обколачиваюсь об тебя, как о каменный столб.

– Благодарю за лестное сравнение! – иронически кривя губы, сказал Скрынин. – Чрезвычайно образный способ выражения! Похожа на бабочку, нечего сказать!

Он окинул жену презрительным взглядом: едва одетая, растрепанная. Как вскочила с постели, кое-как набросила что-

то на себя, кое-как подколола шпильками волосы, так и вышла сидеть сюда, где всякий вошедший в сад может увидеть ее. «Очень опустила за последнее время, – думал Скрынин. – Совсем за собою не следит».

Скрынин прежде говорил об этом Елене. Теперь же он старался и не замечать всего этого беспорядка, чтобы не возникло лишних неприятностей. Доволен был уже и тем, что при гостях и в людях Елена подтягивалась.

Елена знала, что в эту минуту думает о ней муж. Презрительно и злобно смотрела на него. Он весь был в белой фланели, точь-в-точь одет, как на рисунке летнего выпуска английского журнала мужских мод.

Елена говорила:

– Не могу понять, где у меня были глаза, когда я выходила за вас замуж. Вы не живой человек, вы – ходячая и рассуждающая машина, вы – какой-то отвлеченный, надуманный кем-то интеллигент. Душно мне с вами, воздуху для моей души не хватает.

Елена засмеялась хрупким, слишком звонким смехом. Сделала над собою усилие, чтобы не смеяться, и продолжала:

– Все почему-то на память стихи приходят:

Душно в Киеве, как в скрыне.

Только киснет кровь...

И вдруг вскочила и закричала истерически:

– Вы, Николай Константинович, дождетесь того, что я вас убью, отравлю, зарежу!

И бросилась бежать в сад, порывистым толчком распахнув стеклянную дверь. Скрынин, пожимая плечьями, смотрел вслед за нею. На его желтое лицо легло кислое выражение, и от крыльев горбатого носа к углам тонкогубого рта протянулись вялые складки. Но, не давая себе времени распускаться в ненужных размышлениях, он деловито взглянул на карманные часы, позвонил, распорядился, чтобы приготовили экипаж, и пошел в свой кабинет собирать бумаги для поездки в город.

II

Елена добежала по хрупко-песочным дорожкам до ограды сада. С разбегу оперлась руками и грудью о невысокую изгородь. Испуганными, зоркими глазами смотрела на редкие, убывающие под солнцем радужки росинок на скошенном лугу и на деревья недалеко леса, мглисто-синеватого. Сердце билось быстро, в голове настойчиво повторялись все одни и те же самоукорные мысли:

«Зачем я это ему сказала? Надобно было молчать, в себе таить, носить мысль, как ребенка. Теперь он, пожалуй, вздумает беречься, и я ничего не смогу сделать. Да еще и Пасходин может проболтаться. Ах, зачем, зачем я ему это сказала!»

Наконец Елена решилась поправить дело, – пошла мириться с мужем. Шла тихонько, улыбаясь солнцу, радовалась

левкою благоуханным и бездыханно-ярким макам и думала: «Достаточно сказать ему несколько ласковых слов, и он мне поверит. Себе поверит, не мне. До сих пор воображает, что неотразим, – и пусть воображает».

III

Скрынин уже готов был ехать в город, – в этом году у него и летом были в городе какие-то очень интересные дела, – когда в его кабинет вошла Елена. Скрынин посмотрел на нее с удивлением, – он уже приготовился к тому, что придется уехать, не повидавшись с женою.

У Елены было нежное и виноватое выражение лица, и потому она казалась теперь невинною и молодою, как до свадьбы. Скрынин обрадовался, – он не любил ссор, – и лицо его озарилось улыбкою, почти не кислою.

Елена подошла к нему близко, положила на его узкое, костлявое плечо тонкую загорелую руку, глянула прямо в его темные большие глаза с фиолетовыми подглазниками своими невинно-синими глазами и голосом рассудительного ребенка заговорила:

– Николай, не дуйся, пожалуйста.

– Но я и не дуюсь, – возразил было Скрынин.

Но Елена тотчас же перебила его:

– Пожалуйста, не спорь. Нельзя постоянно спорить. Ты знаешь, что я тебя люблю. Ты сам всегда начинаешь пер-

вый...

– Елена, это ты начинаешь.

– Пожалуйста, не спорь. Ты доводишь меня до того, что я сама не помню, что говорю. Пожалуйста, ты не вздумай, что я серьезно хочу тебя убивать.

– Да я и не думаю.

– Нет, ты скажи, неужели ты считаешь меня способною на это?

Скрынин отвечал смущенно:

– Ну что ты, Елена! Конечно, я этого не думаю. И не имею никаких оснований для этого.

– Как никаких! – возразила Елена, хмурясь. – А мои собственные слова?

– Елена, – сказал Скрынин, – ты в последнее время раздражаешься по пустякам.

– О, пустяки!

– У тебя нервы в самом ужасном и невозможном состоянии. Тебе необходимо серьезно лечиться, положительно необходимо.

Как все люди без темперамента, Скрынин наибольшую убедительность речи полагал в механическом повторении слов.

Елена опустила глаза. Лицо ее приняло упрямое выражение. Она безнадежно сказала:

– Ну что же мне лечиться! Это бесполезно. Хоть бы один ребенок у меня был. Тогда бы у меня и нервы были в поряд-

ке. Ты сам это знаешь.

Скрынин пожал плечами и заторопился уезжать. Елена опять стала нежною и ласковою и сказала:

– Не будем ссориться. Нет и нет, и не надо. Меньше забот.

Когда Скрынин сел в коляску и лошади пошли с места легкою, спорою рысью, Елена стояла у калитки в саду и темными от ненависти глазами смотрела на уносящуюся плавно в дымно-синеватом облаке пыли коляску.

IV

Так Елена ненавидела мужа, того самого человека, в которого молодою девушкою страстно влюбилась, которого любила нежно и преданно и с которым благополучно прожила несколько лет. Причин для ненависти не было, – так думали все близкие, вся многочисленная родня его и ее. Брак был счастлив, – так думали все знакомые.

Одно разве, что детей не было. В первые годы замужества Елена и не хотела иметь детей, – это мешает выездам и светским утомительным удовольствиям. Потом ей захотелось детей, – хоть одного ребенка. Уже ей показалось, что это очень забавно и занятно, и дает в свете какую-то особенную значительность. Но дети не рождались.

Наконец, уже Елена начала думать, что Скрынин на то и рожден, чтобы стать последним в своем роде. Черты сухой душевной бесплодности все яснее для Елены обнаружива-

лись в нем. Он казался ей похожим на смоковницу, не давшую плода вовремя и за то иссохшую.

Ревновать его Елене не приходилось. Он был одинаков со всеми знакомыми дамами и девушками. Никаких других причин к неудовольствию она тоже не могла бы назвать.

Скрынин дома был мил, нежен и корректен, в людях был со всеми вежлив, внимателен и корректен, в службе и в деловых отношениях был отлично поставлен, удачлив и корректен. Не за эту же всегдашнюю и неизменную корректность ненавидеть человека!

А между тем именно эта корректность, эта сдержанность превосходно воспитанного человека и была тем свойством, на котором сосредоточились Еленины ненавидящие чувства. Стоило ей закрыть глаза и представить себе Скрынина во всей его блистательной безукоризненности, – в его всегда безукоризненном костюме, с его безупречными манерами, с его бесспорною всегда и во всем правотою, – и тотчас ненависть начинала больно и жутко сжимать ее сердце, болью чисто телесною отзываясь в нем.

Как отчетливо научилась она представлять себе Скрынина! Белизна фланели на его летнем костюме, матовость светло-серой обуви, ровный лоск двух одинаковых полушарий гладкой прически по обе стороны диаметрального пробора, бриллиантин подкрученных кверху усов, аккуратная лопаточка черной бородки, непомерно точная гармония галстука всему прочему, лоснящийся крюк элегантной тросточки на

прямоугольном сгибе локтя, – о, постылое, постылое!

Глаза бы не видели этой томности движений, этой матовости горбоносого лица, этой усталой ласковости взгляда! Уши бы не слышали этих томных, упдающих интонаций, этой легкой, вкрадчивой походки! Чтобы не быть на него похожей, хотелось делать резкие движения, румянить щеки, смотреть жестоко, говорить громко, ходить стуча каблуками, шаркая подошвами, одеваться кое-как, назло ему! Чтобы ничто в ней ему не нравилось, чтобы все раздражало, чтобы и он чувствовал эти бешеные укусы злобы. Пусть ненавидит, пусть теряет голову от ненависти, пусть убьет!

Лучше не жить! Ей или ему, – лучше не жить. И пусть другой всю жизнь радуется, что освободился, – если только после такой ненависти можно радоваться.

Такая ненависть! Убила бы, убила бы! Увидеть бы труп, сделанный ею из этого человека, – о, как забилося бы тогда ее сердце!

Мечта о смерти мужа целый год томила Елену, как мечта об избавлении от тягостного кошмара. Все сильнее день ото дня злоба давит грудь, – сбросить бы, сбросить бы эту тяжелую ношу! Так облегченно вздохнет грудь, истомленная тесными сжатиями голодной злобы!

V

С настойчивостью маньяка Елена целый год придумыва-

ла средства достать сильнодействующий яд. Револьвер у нее был издавна, – подарок в девические годы от одного мрачно настроенного родственника. Он всегда хранился Еленой в полной боевой готовности. Но к этому способу убийства Елена не хотела прибегать. Ей было тошно думать о том, что ее посадят на жесткую скамью подсудимых, что кто-нибудь из бывавших в их доме товарищей прокурора станет говорить о ней дерзкие слова и что мужики присяжные, вздыхая и сопя в душной неприятно пахнущей зале, будут смотреть на нее как на злую бабу, которая убила мужа из шалой ярости. Разве все эти люди могут понять то, что творится в Елениной душе!

Достать яд, – вот что стало Елениною мечтою. Она долго уговаривала знакомого милого врача, доктора Заражайского.

– Револьвер у меня уже есть, – говорила она, – а вы, доктор, дайте мне яд.

Заражайский удивлялся и спрашивал:

– Зачем это вам понадобилось, милая Елена Алексеевна? Ваш Николай Константинович ни за кем как будто не ухаживает, стало быть, разлучницы у вас нет. Кого же вы травить собираетесь?

– Это мне надо для себя, доктор, – говорила Елена, – ведь я же вам говорю, для себя.

Заражайский посмеивался, поглаживал густую черную бороду и говорил:

– Не смею этому верить, дражайшая Елена Алексеевна, –

хоть убейте, не смею верить. Жизнь вам очаровательно улыбается, дом у вас – полная чаша, как говорится, муж вас на руках носит... От такой жизни, как показывает статистика, обыкновенно не травятся.

– Счастье может пройти, – говорила Елена, – я его не переживу, моего счастья. Как же мне тогда быть? Прикажете мне под трамвай броситься? Но ведь это ужасно больно!

– У вас есть револьвер, – ответил доктор, – чик! И готово.

– Но я боюсь стрелять, – возражала Елена. – Если неудачно выстрелить, это тоже будет довольно безрадостная история. Только яд верно действует.

– Ну, это зависит от дозы.

– Вы мне укажете дозу, дорогой доктор. Я вас умоляю, милый, добрый доктор, – дайте мне яду на черный день. Я спрячу его и буду хранить, и у меня будет та радость, что всегда, в любой момент, если жизнь станет для меня нестерпимой, я смогу легко и спокойно уйти из нее.

Как Бога молила усмехавшегося Заражайского, плакала горько, на коленях перед ним стояла. Наконец Заражайский согласился. В самом начале этого лета, накануне отъезда на дачу, Заражайский принес в маленьком стеклянном флакончике белый порошок.

Елена, усиливаясь казаться совершенно спокойной, рассматривала странный подарок. Пробка притерта, тонким пузырем затянута, толстою ниткою по пузырю перевязана, на этикетке череп изображен и надпись «Яд» крупными буква-

ми. Флакочик вставлен в картонный футлярчик, и на футлярчике надпись: «Хранить в сухом месте». Все очень серьезно.

Хотя они были одни, Скрынина не было дома, но все-таки Заражайский говорил тихо, озираясь боязливо по сторонам.

– Ну вот, Елена Алексеевна, принес вам опасную игрушку, взял грех на душу. Целую семью отравить можно. Смотрите, милая барынька, не подведите вы меня. Вот принес, старый дурак, а у самого душа не на месте. Вот уж истинно говорится, что женщина сильнее черта. Нет, вы не смейтесь, это так. Где черт не может соблазнить человека, туда он шлет очаровательную даму, – и дело в шляпе.

Елена слушала и становилась все тревожнее. В суетливых движениях Заражайского и в его торопливом полупешоте Елена чувствовала какое-то лукавство. Она решила в самом скором времени проверить Заражайского, – отравить его ядом дачную дворовую собаку.

Проснувшись рано утром от необыкновенного ощущения тишины и свежести за уже открытым горничною окном, Елена принялась за флакончик. Долго билась с притертою пробкою. Кое-как открыла. Взяла большую щепотку белого порошка, закатала его в хлебный шарик и, проходя мимо Полкановой будки, дала Полкану шарик. Почувствовав на своей руке влажное и горячее прикосновение Полканова языка, Елена поспешно пошла из ворот усадьбы. Долго гуляла она в парке, почти одна, – настоящий дачник, гуляющий и уха-

живающий, в этот час еще спит.

Вернулась домой, заглянула к Полкану, – Полкан хоть бы что. И завтра, и послезавтра Елена ходила к нему наведываться, – здоровехонек.

Елена долго плакала от бессильной злости и от досады.

VI

Наконец, уже в середине лета Елене удалось добыть то, что ей так долго мечталось.

На одной из соседних дач одиноко жил молодой, но уже унылый пессимист. Он был литератор, считал себя гениальным и терзался тем, что люди не замечали его гениальности. Неудовлетворенное самолюбие диктовало ему не очень складные, но очень сердитые критические статьи. Разговаривая со знакомыми дамами, унылый литератор намекал недвусмысленно, что на днях лишит себя жизни.

– Я всегда имею наготове яд, – говорил он.

Милые, доверчивые дамы ахали и умоляли его остаться в живых. Эти нежные дамские уговоры были главной прелестью жизни унылого литератора.

Фамилия его была Пасходин, а в мыслях Елениных он носил длинный титул «Тоска и скука». Долго Елена не обращала на него никакого внимания. Но как-то раз, встретясь в парке, они разговорились.

Пасходин заговорил о самоубийстве. По жестким интона-

циям его голоса и по змеиному блеску тяжело уставленных глаз Елена догадалась, что у Пасходина есть настоящий яд. Сладострастие опасности почуяла она в словах Пасходина. Тогда она преодолела свое отвращение к унылому литератору и принялась спасать его.

Каждый день с утра начиналась та же скучная канитель уговоров.

– Вы такой молодой, такой талантливый. Жизнь ваша так нужна для общества и для искусства. Вы так красивы, так достойны любви. Наконец, я не хочу, – слышите ли? – не хочу, чтобы вы умирали. Умирать теперь, когда вся жизнь перед вами, – что за безумие! Отдайте мне ваш яд, я его выброшу.

Утром, днем, вечером. Чтобы выслушивать все эти очаровательные уговоры, Пасходин каждый день приходил к Скрыниним завтракать или обедать, играть в теннис или читать новый роман.

Сохранить свою жизнь он кое-как согласился. Но отдать яд! Долго отнекивался Пасходин. Наконец Елена осторожно сказала:

– Если вы потеряли ваш яд, то я очень рада.

Пасходин вспыхнул. Она ему не верит! И на следующий же день он принес яд. Видно было, что его захватило желание показать яд и позабавиться более сильной степенью страха и сочувствия. Может быть, он и не хотел отдавать яд. Да Елена почти вырвала флакончик у него из рук и унесла к себе в спальню. Пасходин устремился за нею, но она перед

самым его носом захлопнула дверь и задвинула задвижку. Когда через несколько минут она вышла к Пасходину, у нее было веселое, оживленное лицо.

VII

Вот, у Елены в руках яд. Опять такой же красивый флакончик и такой же сахарно-белый порошок. Может быть, опять обман? Ну что же, испытать не трудно.

На этот раз быстрая судьба Полкана доказала действительность яда. Прислуга дивилась, кому понадобилось отравить Полкана. Несколько ночей провели тревожных, ожидая нашествия грабителей. Поторопились завести нового сторожевого пса. О Полкане потужили да и позабыли. Дольше всех память о Полкане горька была Елене.

Бедный, невинный Полкан, раб и друг преданный и верный, всю свою собачью душу влагавший в служение властям кормящим! О противные люди! Вам нельзя верить на слово, вас надобно постоянно проверять.

VIII

На другой же день Пасходин пришел к Елене и принялся клянчить. Уставя в Елену тяжелый взгляд («Точно Грушницкий», – подумала Елена), Пасходин заговорил патетиче-

ским тоном:

– Елена Алексеевна, отдайте мне мой яд! Я не хотел отдавать вам мой яд. Вы воспользовались минутой моей слабости и вырвали у меня из рук мой яд. Это недостойно интеллигентной женщины. Если бы вы были мужчиною, я бы сказал вам, что вы поступили нечестно. Отдайте мне мой яд! Я не могу жить без моего яда.

Елена сначала слушала молча, потом засмеялась, посмотрела на Пасходина прищуренными глазами и сказала:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.